9 63.3(2)
П-37

ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

С. Ф. ПЛАТОНОВ

БОРИС ГОДУНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГНИ"
ПЕТЕРБУРГ

147280

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

РПМ БАН, з. 126, т. 300 000, 1.III.94

1698.
6(3,3)(2)
П-37

Академик С. Ф. ПЛАТОНОВ

1965
1930
80

БОРИС ГОДУНОВ

147280

ПЕТРОГРАД
К-ВО «ОГНИ»
1921

БИБЛИОТЕКА
Обл. Дома Учителя

15-я Госуд. типография. Звенигородская, 11.

Напечатано в колич. 6.000 экз
Р. В. Ц.

Глава первая.

КАРЬЕРА БОРИСА.

I.

Личность Бориса Годунова всегда пользовалась вниманием историков и беллетристов. В великой исторической Московской драме на рубеже XVI и XVII столетий Борису была суждена роль и победителя и жертвы. Личные свойства и дела этого политического деятеля вызывали от его современников как похвалы, выроставшие в панегирик, так и осуждение, переходившее в злую клевету. Спокойным исследователям событий и лиц надлежало устранить и то и другое, чтобы увидеть истинное лицо Бориса и дать ему справедливую оценку. Этот труд исследования взял на себя впервые младший современник Бориса, автор «Временника» XVII века дьяк Иван Тимофеев, «книгочтец и временных книг писец». Однако, составив любопытнейшую характеристику «рабоцаря» (Бориса), он в конце концов сознался, что не умеет его понять и не может уразуметь, что преобладало в Борисе: добро или зло. «В часе же смерти его (Бориса) никтоже весть, что возодоле и кая страна мерила претягну дел его, благая ли злая», говорит Тимофеев. В самые первые годы XIX века такою же загадкою явился Борис для знаменитого Карамзина. Над «палаткою» (склепом) Годуновых в Троицкой лавре Карамзин риторически восклицал: «Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: все безмолствует вокруг древнего гроба!.. Что, если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» Тот же самый вопрос встает и перед историком нашего времени: до сих пор исторический материал, касающийся личной деятельности Бориса, настолько неясен, а политическая роль Бориса настолько сложна, что нет возможности уверенно высказаться о мотивах и принципах его

деятельности и дать безошибочную оценку его моральных качеств. В этом находит свое об'яснение и доныне существующая литературная разноголосица относительно Бориса. Если в драме и в исторической повести Борис является обычно с чертами интригана и злодея, то в этом следует видеть не столько выражение исторических убеждений авторов, сколько прием драматической концепции, творческой мысли. Но и в ученой литературе, даже до последних десятилетий, Борис у многих писателей выступает мрачным злодеем, идущим к трону через интригу, обман, насилие и преступление (Н. И. Костомаров, И. Д. Беляев, Казимир Валишевский). На этих писателей продолжает влиять та летописная и «житийная» традиция, которая в XVII—XVIII веках пользовалась силою официально установленной «истины» и только в XIX веке стала уступать усилиям свободной научной критики. Как глубоко эта традиция, невежественная и грубая, может возмущать неподчиненный ей ум, свидетельствуют скорбные и полные сарказма слова одного из новейших исследователей, посвященные «историографии» Бориса. Коснувшись мимоходом эпохи Бориса, проф. А. Я. Шпаков был изумлен обилием обвинений против Бориса и их легкомыслием: «История Бориса Годунова», говорит он: «описана в летописях и различных памятниках, а оттуда и у многих историков, весьма просто. После смерти Ивана Грозного Борис Годунов сослал царевича Дмитрия и Нагих в Углич, Богдана Бельского подговорил устроить покушение на Феодора Ивановича, потом сослал его в Нижний, а И. Ф. Мстиславского в заточение, где повелел его удушить; призвал жену Магнуса, «короля Ливонского», дочь Старицкого князя Владимира Андреевича—Марью Владимировну, чтоб насильно постричь ее в монастырь и убить дочь ее Евдокию. Далее он велел перебить бояр и удушить всех князей Шуйских, оставив почему-то Василия да Дмитрия Ивановичей; затем учредил патриаршество, чтобы на патриаршем престоле сидел «доброхот» его Иов; убил Дмитрия, подделал извещение об убийстве, подтасовал следствие и постановление собора об этом деле, поджег Москву, призвал Крымского хана, чтобы отвлечь внимание народа от убийства царевича Дмитрия и пожара Москвы; далее он убил племянницу свою Феодосию, подверг опале Андрея Щелкалова, вероломно отплатив ему злом за отеческое к нему отношение, отравил Феодора Ивановича, чуть ли не силой заставил

посадить себя на царский трон, подтасовав земский собор и плетьми сбивая народ кричать, что желают именно его на царство; ослепил Симеона Бекбулатовича; после этого создал дело о заговоре «Никитичей», Черкасских и других, чтобы «извести царский корень», всех их перебил и заточил; наконец, убил сестру свою царицу Ирину за то что она не хотела признать его царем; был ненавистен всем «чиноначальникам земли» и вообще боярам за то, что грабил, разорял и избивал их, народу—за то, что ввел крепостное право, духовенству—за то, что отменил тарханы и потворствовал чужеземцам, лаская их, приглашая на службу в Россию и предоставляя свободно исповедывать свою религию, московским купцам и черни—за то, что обижал любимых ими Шуйских и Романовых и пр. Затем он отравил жениха своей дочери, не смог вынести самозванца и отравился сам. Вот и все [1])».

Подкрепленный точными ссылками, этот перечень обвинений на Годунова не измышлен и даже не преувеличен. Он только собирает вместе все то, чему верили и чему не верили историки, что они излагали, как факт, и что опускали по несообразности и невероятности. Несчастье Бориса состояло в том, что в старые времена писавшие о нем не выходили из круга преданий и клевет, внесенных в летописи и мемуары. Дело стало меняться, когда, с изменением научных интересов, внимание историков направилось от личности Бориса к изучению той эпохи в в ее целом. Серьезное и свободное исследование времени Бориса повело к тому, что с достоверностью выяснился большой правительственный талант Бориса и в его характеристику вошли новые, благоприятные для его оценки черты. Правда, не всех историков новые материалы расположили в пользу Годунова; но как только явилась возможность перейти от «летописных повествований» к «документальным данным», у Годунова стали множиться в науке защитники и почитатели. Не говорим об «историографе» Миллере, который в XVIII веке прямо таки не смел быть откровенным в отзывах о Годунове из боязни выговоров и взысканий от начальства. Более свободный и смелый историк Николаевского времени М. П. Погодин должен быть признан первым открытым апологетом Году-

[1]) Проф. А. Я. Шпаков. «Учреждение патриаршества в России». Одесса. 1912, стр. 56—60.

нова. По отзыву его университетского слушателя «голос его принимал живое, сердечное выражение, когда он говорил о Борисе Годунове и с увлечением доказывал нам (студентам), что Борис Годунов не был убийцей царевича Дмитрия и не мог быть». С кафедры и в печать переносил Погодин свою симпатию к Борису. За Погодиным следовал Н. С. Арцыбашев (1830) с его оправданием Бориса от обвинения в покушении на царевича, А. А. Краевский (1836) с общей панигирической характеристикой Бориса и П. В. Павлов (1850) с его указанием на положительное значение всей деятельности Годунова, как правителя и политика. Позднее в пользу Бориса по разным поводам высказывались К. С. Аксаков (1858), Е. А. Белов (1873), А. Я. Шпаков (1912) и некоторые другие писатели. Нельзя однако скрыть, что если не враждебны, то во всяком случае очень холодны к Борису остались такие авторитетные исследователи, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Однако их историческая прозорливость позволила им рассмотреть в Борисе не одни черты драматического злодея, но и качества истинно государственного деятеля. Со времени именно «Истории» Соловьева Борис стал предметом не столько обличения, сколько серьезного изучения. Быть может, дальнейшие успехи историографии создадут Борису еще лучшую обстановку и дадут его «многострадальной тени» возможность исторического оправдания.

II.

Нетрудно собрать данныя для «послужного списка» Бориса Федоровича Годунова; их сохранилось немного. Происходил он из рода «исконивечных» московских служилых «вольных слуг», которые гордились тем, что они «исконивечные государские ни у кого не служивали окромя своих государей». По родословному преданию (которого никто не оспаривал), предком Годуновых был ордынский мурза Чет, приехавший около 1330 года из Орды служить великому князю Ивану Калите и крещенный с именем Захария. Кроме Годуновых, от Чета пошли столь «честные семьи», как Сабуровы и Вельяминовы. Если это не была самая вершина московской знати, то во всяком случае это был слой, близкий к вершине, попадавший в думные чины и служивший во дворце. Едва ли прав был с точки зрения историка, А. С. Пушкин, влагая в уста князя Шуйского (в «Борисе

Годунове») пренебрежительные слова о Борисе: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач». Шуйские конечно могли свысока смотреть на Годуновский род, не княжеский и до ласки Грозного не боярский; но никто не мог бы в XVI веке назвать Годунова «вчерашним рабом» и «татарином». Два с половиной века род был православным и с 70-х годов XVI столетия решительно вошел в думу в лице Дмитрия Ивановича, Ивана Васильевича и Бориса Федоровича Годуновых [1]). Личная карьера Бориса началась для него рано: лет 20 от роду, около 1570 года, он женился на дочери государева любимца Григория (Малюты) Лукьяновича Бельского-Скуратова и стал придворным человеком. Приближенность его к Грозному царю выразилась в том, что он занимал должности и исполнял поручения «близко» от самого государя: бывал у него «рындою» (в ближней свите) и «дружкою» на свадьбах царских. Тридцати лет от роду Борис уже получил боярский сан, будучи «сказан» в бояре в 7089 (1580-1581) году «из крайчих» или «кравчих» (должность важная: крайчий за государевым столом ставил кушания «пред государя», приняв их от стольников и сам отведав с каждого блюда). Все такого рода данныя о Борисе приводят к мысли, что он был личным любимцем Грозного и своими ранними успехами был обязан не столько своей «породе», сколько любви царя к его семье, если не к нему самому. Таким же доказательством фавора Годуновых может служить и женитьба царевича Федора Ивановича на сестре Бориса Ирине Федоровне Годуновой (вероятно, в 1580 году). Выбрав для сына жену в семье Годуновых, Иван Грозный ввел эту семью во дворец, в свою родню. В качестве царского родственника Борис в ноябре 1581 года мог благовидно вмешаться в семейную ссору Грозного царя. По летописному рассказу, вполне вероподобному, он получил тяжкие побои от царя за то, что «дерзнул внити во внутрение кровы царевы» и заступиться за царевича Ивана Ивановича, которого, как известно, Грозный до смерти избил. Царь и Борису «истязание многое сотвори и лютыми ранами его уязви». Вследствие такого «оскорбления» Борис расхворался и долго лечился. Посетивший его на дому

[1]) „Годуновы—даже очень знатный род,"—говорит историк местничества А. И. Маркевич: „что легко и видеть: он дал четырех бояр до воцарения Бориса; родичи его, Вельяминовы, Сабуровы и пр. тоже считали у себя немало бояр" („О Местничестве", стр. 643).

Грозный вернул ему свое расположение, и Борис до самой кончины Грозного «у него, государя, в близости пребывал». В час смерти царя Ивана (1584) Борис находился уже в числе первейших государственных сановников и принял участие в образовании правительства при преемнике Грозного царе Федоре Ивановиче, неспособном ни к каким вообще делам. На втором году его царствования Борис добивается уже правительственного первенства, а в 1588 (приблизительно) году делается формально признанным регентом государства, «царского величества шурином», «и добрым правителем», который «правил землю рукою великого государя». Целые десять лет (1588—1597) правительствовал Борис в Москве, раньше чем бездетная кончина Федора открыла ему дорогу к трону. Наконец, в 1598 году «lord-protector of Russia» (как звали англичане Бориса) был земским собором избран на царство и стал «великим государем царем и великим князем всея России Борисом Федоровичем». Таков был житейский путь Бориса, исполненный успехов и блеска, необычайно удачный и, как увидим, полный терний.

Борис вступил в правительственную среду и начал свою политическую деятельность в очень тяжелое для Московского государства время. Государство переживало сложный кризис. Последствия неудачных войн Грозного, внутренний правительственный террор, называемый опричниной, и беспорядочное передвижение народных масс от центра к окраинам страны—расшатали к концу XVI века общественный порядок, внесли разруху и разорение в хозяйственную жизнь и создали такую смуту в умах, которая томила всех ожиданием грядущих бед. Само правительство признавало «великую тощету» и «изнурение» землевладельцев и отменяло всякого рода податные льготы и из'ятия, «покаместа земля поустроится». Борьба с кризисом становилась неотложною задачею в глазах правительства, а в то же время и в самой правительственной среде назревали осложнения и готовилась борьба за власть. Правительству необходимо было внутреннее единство и сила, а в нем росла рознь и ему грозил распад. Борису пришлось взять на себя тяжелую заботу устройства власти и успокоения страны. К решению этих задач приложил он свои способности; в этом деле он обнаружил свой бесспорный политический талант и в конце концов в нем же нашел свое вековое осуждение и гибель своей семьи.

III.

Рассказ о деятельности Бориса начнем с вопроса об устройстве власти и о борьбе за обладание ею. Это был один из самых сложных и больных вопросов московской жизни того времени. Страстность и жестокость Грозного придали ему особенную остроту, вывели его из области теоретической и книжной в действительную жизнь и обагрили напрасной кровью невинных жертв царской мнительности и властолюбия.

Об'единение великорусских областей под московскою властию и сосредоточение власти в едином лице московского великого князя совершились очень незадолго до Ивана Грозного энергией его деда и отчасти отца. Принимая титул царя (1547) и украшая свое «самодержавие» пышными фикциями родства (идейного и физического) со вселенскими династиями «старого» и «нового» Рима, Иван Грозный действовал в молодом, только что возникшем государстве. В нем еще не сложился твердый порядок, все еще только подлежало закреплению и определению и не было такой «старины» и «пошлины», которая была бы для всех незыблемой и бесспорной. Правда, власть «великого государя» на деле достигала чрезвычайной полноты и выражалась в таких формах, которые вызывали изумление иностранцев. Известны слова австрийца барона Герберштейна о том, что московский великий князь «властью превосходит всех монархов всего мира» и что «он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех». Это был бесспорный и очевидный факт; но в глазах русских людей XVI века он еще требовал правового и морального оправдания. Московская публицистическая письменность XVI века охотно обсуждала вопросы о пределах власти княжеской и царской, о возможности и необходимости противодействия князю, преступившему богоустановленный предел своей власти, о нечестивых и лукавых властителях («таковый царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель»), наконец, о том, что власть царская ограничивается законом божиим и действует только над телом, а не над душою подвластных ему людей. В основе подобных рассуждений лежали требования христианской нравственности и религиозного долга; в них не было стремления к внешнему ограничению княжеского и

царского произвола. Напротив, вся церковная письменность проникнута была мыслью о богоустановленности власти благочестивого московского монарха и о необходимости повиноваться и служить «истинному царю», который есть «Божий слуга», которого Бог «в себе место» посадил и которого суд никем не посужается. Налагая на «самодержца» обязанность быть «истинным», «правым», «благочестивым», церковные писатели налагали на подовластных такому царю людей обязанность служить ему верно и безропотно. Мысль о необходимости «предела» самовластию великого государя, хотя бы и законного и благочестивого, возникала в иной среде—именно в боярской. Здесь руководились не столько благочестием, сколько практическими соображениями.

Давно признано историками, что Москва была обязана своими первыми политическими успехами московскому боярству. В Москве с XIV столетия сложился определенный круг боярских семей, связавших свою судьбу с судьбою московского княжеского рода и успешно работавших на пользу Москвы и ее князей даже и тогда, когда сами князья оказывались—по малолетству и иным причинам—недееспособными. Династия признавала заслуги своих бояр; знало о них и население; биограф Димитрия Донского вложил в его уста особую похвалу боярам: «Родихся пред вами и при вас возрастох и с вами царствовах... отчину свою с вами соблюдох... и вам честь и любовь даровах, под вами городы держах и великие волости... и веселихся с вами, с вами и поскорбех; вы же не нарекостеся у мене бояре, но князи земли моей». Так говорил Димитрий боярам, а детям своим говорил он на смертном одре: «бояры своя любите... без воля их ничтоже не творите». Союз династии и боярства представлялся крепким до середины XV века, до тех пор, пока судьба не послала обеим сторонам своеобразное испытание в виде появившейся в Москве толпы служилых князей или «княжат», как называл их Грозный.

Собирание великорусских земель под властию Москвы сопровождалось обычно тем, что князья, владевшие этими землями, оказывались и сами в Москве. Если они не убегали по своей доброй воле от великорусских государей в Литву, и если их не выгоняли сами государи, то им некуда было деться, кроме Москвы. Они приходили туда, били челом великому государю в службу и «приказывались»

ему со своими княжествами; великий же государь их жаловал, в службу принимал, а потом, получив от них их волости, как политическое владение, жаловал князей их же волостями «в вотчину», то есть, передавал им их волости в потомственное частное обладание. Так совершалось превращение «государя князя» в служилого человека, «холопа» великого государя Московского. После того, как московские власти водворяли в княжой волости свои порядки и извлекали из нее все, что там надобилось великому государю, волость передавалась в распоряжение ее наследственным владельцам уже на новых основаниях: она превращалась в простое льготное владение, где владельцы обладали иммунитетом и величали себя по-старому «государями», перестав быть ими на деле. С горьким сарказмом рассказывает о подобном превращении Ярославля в московскую волость ярославский летописец, местный патриот. Под 1463 годом сообщает он об открытии мощей ярославского великого князя Федора Ростиславича с двумя сыновьями и говорит: «Сии бо чудотворцы явишася не на добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами навек, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь великий против их отчины подавал им волости и села; а из старины печаловался о них князю великому старому (Василию Темному) Алексей Полуектович, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была. А после того в том же граде Ярославли явися новый чудотворец Иоанн Агафонович, сущей созпратай Ярославской земли: у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю; а кто бу́дет сам добр, боярин или сын боярской, ин его самого записал. А иных его чудес множество не можно исписати, понеже бо во плоти сущей дьявол». В этой скорбной повести указано на то, что ярославские князья от Москвы получили даже не свои старые земли, а в их замену, «против их отчины», новые волости и села. Большим гнездом мелких и бедных землевладельцев осели они в XVI веке при московском дворе после разгрома их княжения московскими «чудотворцами», в роде Алексея Полуектовича и Ивана Агафоновича. Понятно, какие они питали чувства к этим чудотворцам и к их вдохновителям московским государям. Происходивший из числа именно таких ярославских князей «изменный ярославский владыка» (по слову Грозного) князь Андрей Мих. Курбский, укрыв-

шись от руки Грозного за литовским рубежом, не пощадил московского государя и его предков в своих отзывах о них. «Обычай у московских князей»—писал он—«издавна желать братий своих крови и губить их, убогих, ради окаянных вотчин, несытства ради своего». Этому обычаю не причастны, по словам Курбского, его предки и родичи—ярославские князья: «тое племницы (то есть ветви) княжата не обыкли тела своего ясти и крови братии своей пити, яко некоторым издавна обычай», язвит он Грозного, разумея под «некоторыми» «издавна кровопийственный род» московской «племницы» князей. Так откровенен мог быть эмигрант, спасшийся от рук московского тирана. Те же княжата, которых неволя загнала в Москву и отдала в руки московской власти, должны были молчать перед этою властью и покорно нести в Москве свою службу наряду с простыми нетитулованными боярами и слугами великого государя. Но в их душах кипела та же ненависть к поработителю и цвели такие же воспоминания о былой самостоятельности, какими был полон Курбский. Под пятою московской династии служилые князья не забывали, что и они такая же династия; «то все старинные привычные власти Русской земли (говорит о них В. О. Ключевский), те же власти, какие правили землею прежде по уделам; только прежде они правили ею по частям и по одиночке, а теперь, собравшись в Москву, они правят всею землею и все вместе». Такое разумение дела было свойственно не одним княжатам; все признавали их «государями» и, в отличие от них, царя Московского звали «великим государем», почитая (по выражению Иосифа Волоцкого), что великий государь «всея Русские земли государям государь». В первое время служилые князья в Москве не смешивались с простыми боярами и составляли собою особый служилый слой; «князи и бояре»—обычная формула официальных перечней московских. Только с течением времени постепенно возник обычай жаловать наиболее родовитых княжат в бояре, а тех, кто «похуже», и в окольничие, и таким способом княжата понемногу вошли в боярскую среду старых «ископовечных» московских слуг.

Но это было только официальное, внешнее уравнение княжат с простыми боярами. И те и другие помнили свое различие. Опираясь на «государев родословец» (официальный перечень служилых княжеских и боярских родов), княжата требовали себе первенства во дворце и на службе

и считали простых бояръ ниже себя по самой «породе», так как по тогдашнему выражению, те пошли «не от великих и не от удельных князей». При случае княжата были готовы обозвать и «честных» или «больших» бояр «рабами» по отношению к себе, к «государям». Некоторые «полоумы» из ростовских князей дошли даже до того «что в 1554 году заявили неудовольствие на брак Грозного с Анастасией Романовной потому, что, по ихъ мнению, это был брак недостойный: государь-де «понял робу свою» и темъ «истеснил» их, княжат, ожидавших повидимому его брака с царевною или княжною, по примеру Ивана III и Василия III. Но на княжеский гонор у старинных московских бояр оказывался свой гонор. Они помнили то время, когда их предки работали в Москве против удельных князей и слагали государственный порядок и народное единство в противность княжескому удельному сепаратизму. Их боярские роды были в Москве «своими» в ту пору, когда предки княжат сидели еще по уделам или служили не в Москве, а в других «великих княжениях» (Тверском, Рязанском и др.). Мысль о своем московском туземстве старые бояре и выражали в словах, что они «исконивечные государские, ни у кого не служивали, окромя своих государей»—московских князей. Память о прежних заслугах и принцип туземства помогли избранным фамилиям нетитулованнаго боярства удержаться в первых рядах московских сановников княжеского происхождения. «Коренное гнездо старого московского боярства, свившееся еще в XIV веке», говорит В. О. Ключевский: «уцелело среди потока нахлынувшего в Москву знатного княжья; придавленное им наверху, вытесняемое с высшей служебной ступени, это боярство отстояло вторую ступень и господствовало на ней в XVI веке, стараясь в свою очередь придавить и пришлое боярство из уделов, и второй слой бывшего удельного княжья, пробивавшийся наверх, к своим старшим родичам». От соперничества «стараго гнезда» не поздоровилось в Москве многим княжеским ветвям. В то время, как простые слуги: Морозовы, Салтыковы, Шеины, Захарьины и Шереметевы, Бутурлины, Сабуровы и Годуновы, Плещеевы держались на вершинах служебной и придворной знати, многие князья спустились в служебные низы и «захудали». Упалых ветвей много было, например, среди ярославских и ростовских князей: «и велик, и мал в Ростовских князьях, не ровны Ростов-

ские»,—официально говорилось в XVII веке. Иван Грозный о князьях Прозоровских писал с пренебрежением, что московских государей таких «Прозоровских было не одно сто». Иностранец Флетчер выражается еще сильнее: по его сообщению, измельчавших князей в Московском государстве «так много, что их считают за ничто, и вы нередко встретите князей, готовых служить простолюдину за 5 или 6 рублей в год; а при всем том они горячо принимают к сердцу всякое бесчестие или оскорбление прав своих».

Если появление в Москве служилых княжат оказалось тяжким житейским испытанием для коренного московского боярства, то и для государей московских княжата оказались неприятными и неверными слугами. Как об'яснялся с царем Грозным князь Курбский, мы только что видели. Те же чувства вражды к государям можно было предполагать и у других представителей княжья. Грозный в своих посланиях к Курбскому много раз намекает на то, что ему были известны враждебные мысли и речи князей бояр; он и прямо говорит Курбскому: «колики напасти яз от вас приял, колики оскорбления, колики досады и укоризны!» Одни «укоризны» и «досады», конечно, не составляли бы политического неудобства. Власть чувствовала неудобство, во-первых, от постоянных местнических притязаний княжат, а во-вторых, от княженецких вотчин, которые оставались в руках у князей.

Местничество—очень известный обычай древней Руси. Так повелось, что во всяком деле и во всяком собрании люди считались «породою» и «отечеством» и размещались не по заслугам и таланту, а по знатности. Обычай господствовал над умами настолько, что его признавали решительно все: и бояре, и государь, и все прочие люди. Знали, что «за службу жалует государь поместьем и деньгами, а не отечеством», а потому и терпели, что люди высокой породы властно шли по отечеству всюду на первые места, ссорились из за этих мест и не искали воли и ласки великого государя для их занятия. Государи могли устранить отдельных неугодных им лиц, даже погубить их в своей опале; они могли «выносить» на верх своих личных любимцев. Но они не могли устранить всю среду княжеской аристократии от правительственного первенства и не могли править без этой среды государством. Надобно было изобрести какую нибудь общую меру против княжеской аристократии, чтобы освободить монарха и его правитель-

ство от сотрудничества такой неблагонадежной помощницы. Необходимость подобной меры для успехов московского самодержавия представляется вполне ясно.

Менее ясен вопрос о так называемых княженецких вотчинах. Оставленные Москвою во владении своих прежних державных обладателей, они все таки заботили московских государей и возбуждали их подозрительное внимание. От времени Ивана III и до конца XVI столетия идут ограничительные распоряжения о таких вотчинах: княжатам запрещается продавать их земли кому бы то ни было без ведома великого князя; иногда определенно ограничивается круг лиц, могущих наследовать и приобретать такие вотчины; иногда правительство прибегает к конфискации таких вотчин. Словом, Москва не спускает глаз с княженецкого землевладения; зато и княжата, когда возросло их влияние на дела в малолетство Грозного, прежде всего хватаются за свои княженецкие вотчины. Грозный жалуется, что при нем они возвратили себе «грады и села», взятые у княжат его дедом, и разрешили свободное обращение княжеских вотчин, запрещенных к продаже и отчуждению московскими государями до Грозного. Чем именно вызывалось такое ревнивое внимание власти к княжескому землевладению, из документов не видно: распоряжения давались без явных мотивов. Можно только догадываться, что крупные вотчины лежали в основе экономической силы княжат, и правительство могло опасаться этой силы в виду явной оппозиции княжат-владельцев. Кроме того в своих владениях княжата, вековые владельцы удельных вотчин, сохраняли с их населением крепкую наследственную связь. Они были давними законными «государями» своих земель и их населения; они обладали над своими людьми правом администрации и суда, как льготные землевладельцы; они жаловали «в препитание и в вечное одержание» деревнишки духовенству и своим «служилым» людям. Словом они правили своими землями почти державным порядком и в случае надобности могли бросить подвластное им население в политическую борьбу против Москвы, особенно в тех случаях, когда пользовались любовью населения. Этого-то повидимому и боялись московские государи. Неусыпным надзором и внимательным учетом думали они обезвредить княженецкие вотчины и отнять у их владельцев возможность использовать во вред Москве их материальные средства.

Можно думать, что устойчивая последовательная политика недоверия и подозрений, усвоенная Москвою в отношении княжат, имела некоторый перерыв в первые годы правления Грозного. Впечатлительный царь, по молодости и по живости натуры, подпал влиянию кружка своих друзей. Кружок оказался «лукавым» и «изменным»: он повидимому повел княженецкую политику. По крайней мере сам Грозный, освободясь от дружеских влияний, именно в этом обвинял членов кружка: они пытались «снимать власть» с доверчивого государя, «приводили в противословие» ему бояр, самовольно и противозаконно раздавали саны и вотчины, оставляя царю только «честь первоседания» (то-есть одно председательствование в их среде). Они, словом, ограничили, сколько было возможно, личный авторитет царя, а с княжат пытались снять те ограничения, какие наложены были на них суровой Москвою. Так понял дело Грозный. Когда во время его болезни (1553) обнаружилось стремление бояр-княжат передать после него царство не сыну Грозного, а его двоюродному брату Владимиру, младшему сородичу царской семьи («от четвертого удельного родился!» восклицал о нем Грозный), то царь вовсе исцелился от симпатий к своим прежним друзьям и постепенно перешел к иного рода чувствам. В нем вырос страх перед изменным боярством, сознание необходимости общих против него мер и озлобление против слуг, «пожелавших изменным своим обычаем быти владыками» на прежних своих уделах. Целое десятилетие (1554—1564) длилось это состояние глухой вражды и раздражения, эти поиски мероприятий для защиты царской власти и авторитета от притязаний ненадежной среды высшей княжеской знати. Наконец, в исходе 1564 и начале 1565 года Грозный надумал свою знаменитую опричнину.

Не все современники Грозного ясно понимали, что такое была эта опричнина. Русские люди думали, что царь просто «играл Божьими людьми», когда разделил свое царство на опричнину и земщину и заповедал опричнине другую «часть людей насиловати и смерти предавати». Смысла в этой «игре» деспота они не видали: «сим земли всей велик раскол сотвори, и усомневатися всем в мыслех о бываемом», писал Иван Тимофеев. Замысловатость исполнения задуманных Грозным мероприятий скрыла их идею и цель от непосвященных в дело простых наблюдателей: но идея и цель у Грозного были несомненно. Англича-

нин Флетчер, побывавший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного и обладавший официальными сведениями всей английской колонии в России, обстоятельно об'яснил, что сделала на Руси опричнина. По его изложению, направленная против знати опричнина лишила «удельных князей» их наследствеенных земель и выселила их из их старых вековых вотчин. Сопоставление указаний Флетчера с данными русских документов XVI века открывает постепенно всю картину действий Грозного в опричнине. Суть опричнины состояла в том, что царь решил применить к областям, в которых находились вотчины служилых княжат-бояр, так называемый «вывод», обычно применяемый Москвой в завоеванных ею землях. Великие князья московские, покоряя какую-нибудь область, выводили оттуда наиболее видных и для них опасных людей во внутренние московские области, а в завоеванный край вселяли жителей из коренных московских мест. Это был испытанный прием государственной ассимиляции, в корень истреблявший местный сепаратизм. Это-то решительное средство, направляемое обыкновенно на внешних врагов, Грозный направил на внутреннюю «измену»: он решил вывести княжат из их удельных гнезд на новые места. Флетчер передает дело так, что царь, учредив опричнину, захватил себе вотчины князей, за исключением весьма незначительной доли, и дал княжатам другие земли в виде «поместий» (служебного казенного надела), которыми они владеют, пока угодно царю, в областях столь отдаленных, что там они не имеют ни любви народной, ни влияния, ибо они не там родились и не были там известны. По мнению Флетчера, эта мера достигла своей цели: «высшая знать, называемая удельными князьями, сравнена с остальными; только в сознании и в чувстве народном сохраняет она некоторое значение и продолжает пользоваться внешним почетом в торжественных собраниях». Вывод княжат и конфискацию их вотчин Грозный произвел не прямо и не просто, а обставил дело такими действиями и начал его таким подходом, что возбудил повидимому общее недоумение своих подданных.

Начал он с того, что покинул вовсе Москву и государство и согласился вернуться, по просьбе москвичей, лишь при условии, что ему никто не будет перечить в его борьбе с изменою: «опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки (имущество, достатки) имати, а учи-

Библиотека им. Дома Учителя

нити ему на своем государстве себе опришнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной». Особной двор и был составлен из бояр и дворян («тысячи голов»— опричников), придворной служни, московских улиц и слобод, приписанных к «опричнине», и различных городов и волостей, которые государь «поимал в опричнину». Устроившись в новом дворе, Грозный начал последовательно забирать в опричнину все большее количество земель, именно тех, которые составляли старую удельную Русь и в которых сосредоточивались вотчины княжат. На землях, взятых в опричнину, царь «перебирал людишек», то-есть землевладельцев: иных «принимал» к себе в новую службу, а других «отсылал», иначе говоря, выгонял прочь из их владений, давая им новые земли (и притом вместо вотчин поместья) на окраинах государства. Род за родом, семья за семьей, княжата подпадали под своеобразный пересмотр и в громадном большинстве случаев теряли старую оседлость и выбрасывались вон с наследственных гнезд. В течение двадцати последних лет царствования Грозного опричнина охватила полгосударства и разорила все удельныя гнезда, сокрушив княжеское землевладение и разорвав пугавшую Грозного связь удельных «владык» с их удельными территориями. Цель Грозного была достигнута; но ее достижение сопровождалось такими последствиями, которые вряд ли были необходимы и полезны. Взамен уничтожаемых «княженецких вотчин», представлявших собою крупные земельные хозяйства, выростали мелкие поместные участки; при их образовании разрушалась сложная хозяйственная культура, созданная многими поколениями хозяев-княжат; гибло крестьянское самоуправление, жившее в крупных вотчинах; отпускались на волю боярские холопы, менявшие сытую жизнь боярского двора на голодную бесприютность. Самый характер производимой Грозным реформы—превращения крупной и льготной формы землевладения в форму мелкопоместную и обусловленную службою и повинностями—должен был вызывать недовольство населения. А способы проведения реформы вызывали его еще более. Реформа сопровождалась террором. Опалы, ссылки и казни заподозренных в измене лиц, вопиющие насилия опричников над «изменниками», кровожадность и распущенность самого Грозного, истязавшего и губившего своих подданных во время баснословных оргий, все это пугало и озлобляло население. Оно видело в опричнине не только

необ'яснимый и ненужный террор и не угадывало ее основной политической цели, которой правительство повидимому и не об'ясняло народу прямо.

Такова была пресловутая опричнина. Направленная против знати, она терроризовала все общество; имея целью укрепление государственного единства и верховной власти, она расстраивала общественный порядок и сеяла общее недовольство. Знать была разбита и развеяна, но ее остатки не стали лучше относиться к московской династии и не потеряли оппозиционного духа, не забыли своих владельческих преданий и притязаний. Все население трепетало пред Грозным царем, не умея об'яснить, почему это «многих людей государь в своей опале побил», «и в земских и в опришнине людей выбил». И не успел Грозный закрыть глаза, как в самую минуту его кончины Москва уже бурлила в открытом междоусобии по поводу того, быть ли вперед опричнине, или не быть; а княжата, придавленные железною пятою тирана, уже поднимали голову и обдумывали планы своего возвращения к власти. Наблюдая московское общество в годы после смерти Грозного, Флетчер находил, что «варварские поступки» Грозного «так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что повидимому это должно окончиться не иначе, как всеобщим восстанием». Он оказался провидцем: опричнина в значительной степени обусловила собою великую смуту, едва не погубившую Московское государство.

Вот в каких обстоятельствах боярин Борис Федорович Годунов оказался у кормила власти в Москве.

IV.

В начале царствования царя Федора Ивановича внутренние отношения в боярстве московском уже не походили на то, что мы видели в боярстве до опричнины. В старое время княжата были многолюдным кругом знати, высоко державшим свою голову и свысока смотревшим на нетитулованное боярство. Опричнина истребила этот людный круг. Убыль в составе старого княжеского боярства была так велика, что, по словам В. О. Ключевского, к началу XVII века из больших княжеско-боярских фамилий прежнего времени действовали Мстиславские, Шуйские, Одоевские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Куракины, Пронские,

некоторые из Оболенских и в числе их последний в роду своем Курлятев — «и почти только». Остальная княжеская знать бежала, казнена, вымерла, разорилась, словом исчезла с вершин московского общества. При такой убыли,—можно даже сказать, при таком разгроме—уцелеть мог лишь тот, кто послушно склонился перед Грозным и пошел служить в опричнину, отложив в новом «опришнинском» порядке службы старые претензии и признав силу нового правила, что «и велик и мал живет государевым жалованьем». В этом отношении очень показательна была судьба князей Шуйских. Они по родословцу почитались родовитейшими из князей. Как коренной великий русский род, Шуйские ставились «по отечеству» выше не только всех прочих Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей. И поляки считали их jure successionis haereditariae естественными наследниками Московского царства после конца Московской династии. Сами Шуйские, конечно, знали о своем родословном первенстве, выражаясь о своих предках, что они в князьях «бо́льшая братия» и «обыкли на бо́льшая места седати». Но при Грозном эта большая или старейшая братия смиренно пошла служить в опричнину и спасла свое существование только безусловным послушанием деспоту. Можно даже сказать, что Шуйские были единственным среди заметнейших Рюриковичей родом, все ветви которого не только уцелели, но и делали карьеру в эпоху опричнины. Казалось бы, в новых условиях жизни и службы должны были завянуть старые владельческие воспоминания и притязания Шуйских. На деле же они расцвели, как только умер Грозный и забрезжила надежда на возвращение старых до-опричнинских порядков в Москве. Так же, как Шуйские, чувствовали себя и другие пережившие опричнину знатнейшие княжата. Поникнув под грозою опричнины, они подняли головы с ее концом и готовы были, вместе с Шуйскими, добывать себе утраченное первенство при дворе наследника Грозного царя Федора. Но, как далее увидим, достигнуть успеха княжатам не удалось. Остатки княжеской знати уже не составляли плотной, однородной и сплоченной среды. Брачные союзы, совершаемые в угоду Грозному, ввели в их семьи нетитулованные элементы; случайности карьеры ставили их нередко в зависимость от людей, по сравнению с ними более «худородных». Княжата разбились на кружки и семьи пестрого состава, далеко не всегда согласные между собою. Старые

идеалы еще довлели над умами вожаков этой среды и соединяли их в общих стремлениях—в интригах и покушениях на захват влияния и власти. Но эти интриги и покушения не имели большой силы, не шли далее придворной среды и обычно имели характер мелких житейских хитросплетений. На широкую арену общегосударственной интриги вывела княжат только самозванщина, лет через двадцать после смерти Грозного.

Таким образом княжата потеряли в опричнине свои былые силы. А кроме того в ту же эпоху опричнины сложилась в московском дворце новая враждебная княжеским традициям среда—чисто дворцовой знати. Браки самого Грозного и его сыновей приводили в царское родство некняжеские семьи московского боярства. Последовательно входили во дворец Захарьины-Юрьевы, Годуновы, Нагие. У них у всех, по грубоватой шутке одного современника, «Бог был в кике», то есть счастье заключалось в женском повойнике или кокошнике. За дочерью или сестрой царицей во дворце укреплялись ее отец и братья. Государь, воздвигнув гонение на княжат, вместо них «выносил на верх» женину родню и давал ей первые места, освобожденные от княжеской знати. Благодаря царской ласке, родственные царю семьи укрепились очень прочно в московском правительстве и администрации и притянули туда за собою свое многочисленное родство и свойство. В особенности хорошо «царевы шурья», Захарьины-Юрьевы и Годуновы, сумели воспользоваться своим придворным положением. К концу XVI века оба эти рода обратились в большие гнезда родичей, об'единенных каждое господствующею в нем семьею ближайшей царской родни. Среди Захарьиных первенствовала семья царского шурина Никиты Романовича Юрьева, среди Годуновых—семья Бориса Федоровича Годунова, также царского шурина. Вокруг Юрьевых группировались их «братья и великие други» князья Репнины, Шереметевы, их «зятья» князья Черкасские, Сицкие, князь Троекуров, князь Лыков-Оболенский, князь Катырев-Ростовский, семья Карповых, Шестуновых и многие другие менее заметные семьи (Михалковы, Шестовы Желябужские). Годуновы сами по себе были многолюдны и также имели свой круг, подобно Романовым-Юрьевым (Скуратовы-Бельские, Клешнины и др.). Эта знать была очень далека от вожделений княжат, помнивших удельную старину и мечтавших о возвращении к порядкам, бывшим

до опричнины. Именно в пору опричнины и, быть может, благодаря ей в новом «дворе особном» Грозного эта дворцовая знать получила свое придворное и служебное первенство. Были ее члены опричниками или не были, все равно: они не могли негодовать на порядки Грозного, как негодовали истинные княжата. Носили они сами княжеский титул или нет, они были втянуты в новый круг житейских интересов, держались дворцовым фавором и уже перестали быть «княжатами» по своему духу и классовым идеалам. Для них возвращение к до-опричнинским порядкам было бы утратою только что приобретенного положения во дворце.

Итак в исходе XVI века взаимоотношение боярских групп существенно изменилось по сравнению с началом этого столетия. Взамен прежних «исконивечных государских» слуг и новоприбылых «княжат» перед нами две группы смешанного состава. Обе они уже достаточно «старо» служат в Москве и обе достаточно перемешались между собою путем браков и иных житейских сближений. Обе поэтому стали пестры по составу, а в опричнине сравнялись и по служебным и местническим отношениям. Но в одной из них жил еще старый дух, цела была удельная закваска и горела ненависть к опричнине, направленной как раз на эту группу. В другой же приверженность к Москве, как к давнему месту службы, получила характер привязанности к династии, с которой удалось этим людям породниться и связать свои семейные интересы. Здесь, напротив, жило стремление сохранить опричнину или, точнее, тот служебный и придворный порядок, который создался во дворце, как последствие опричнины и вызванного ею падения княжеской знати. Именно опричнина (или же «двор», как стали звать опричнину с 1572 года) была наиболее острым вопросом, на котором расходились и враждовали боярские группы, из за которого они готовы были вступить между собою в борьбу. Исход этой борьбы в ту или иную сторону решил бы второй столь же острый вопрос—о том, которой из боярских групп будет принадлежать первенство во дворце и в правительстве.

Так стояло дело в Москве в минуту смерти Ивана Грозного и в первые дни власти его преемника царя Федора Ивановича.

V.

Грозный умер, неожиданно для окружавших его, 18 марта 1584 года. После него осталось два сына: старший от первого брака Федор и младший, от седьмой жены Грозного,—Дмитрий. О старшем Федоре, которому было уже 27 лет, широко шла молва, что он слаб в умственном отношении: «как слышно, мало имеет собственного разума», писал о нем в апреле 1584 года польско-литовский посол Лев Сапега [1]). «Царь несколько помешан», говорил о Федоре шведский король Иоанн в официальной речи в 1587 году: «русские на своем языке называют его «durak» (thet ähr itt wåp på svenska)». Младший «царевич» Дмитрий родился в 1582 году от седьмой жены Грозного Марии Федоровны Нагой. Хотя царь и справил должным обычаем свою «свадьбу» с седьмою супругой, но канонически это сожитие не было законным браком, и положение последнего сына Грозного царя могло возбуждать некоторые сомнения. Во всяком случае из двух наследников Грозного только один старший был бесспорно правоспособным и оба требовали опеки—один по малолетству, а другой по малоумию. В Москве не было сомнения, что престол принадлежит старшему. Младшего Дмитрия с его роднею поспешили выслать из Москвы на «удел»—в тот «удельный» город Углич, который сам Грозный еще в 1572 году предназначил по своему завещанию младшему сыну (тогда—Федору). Любопытно, что очень зоркий дипломат Лев Сапега, приехавший в Москву тотчас по смерти Грозного и имевший возможность очень много знать через «шпигов» (лазутчиков), в своих письмах ничего не упоминает о Дмитрии: очевидно, имя Дмитрия не играло тогда никакой роли в вопросе о престолонаследии, и удаление Дмитрия с его матерью и с ее роднею на удел не составляло заметного события для московского населения. Нагих с их «царевичем» просто убрали из предосторожности, как вообще из осторожности и подозрительности Москва принимала разнообразнейшие меры предупреждения против возможных осложнений во все важные моменты своей политической жизни.

[1]) Немногим позже Сапега лично в этом убедился; в июле того же года он писал: «rationis vero vel parum, vel, ut ex aliorum sermone, diligentique etiam mea ipsius animadversione cognovi, prorsus nihil habet».

Неспособность и малоумие царя Федора естественно ставили на очередь вопрос об опеке над ним. Молва говорила, что Грозный сам определил, кому из бояр быть при Федоре опекунами и «поддерживать царство». Современники называли определенно имена важнейших бояр, удостоенных чести править государством. Карамзин поверил их сообщениям и создал такое представление, что при Федоре действовала формально боярская «пентархия», состоявшая из князей И. Ф. Мстиславского и И. П. Шуйского, бояр Н. Р. Юрьева и Б. Ф. Годунова и любимца Грозного оружничего Б. Я. Бельского. За Карамзиным о пентархии говорили и другие историки. Однако ближайшее знакомство с документами той эпохи никакой «пентархии» не открывает. При Федоре просто собрались его ближайшие родственники: его родной дядя по матери Никита Романович Юрьев, его троюродный брат князь Иван Федорович Мстиславский с сыном Федором Ивановичем и его шурин Борис Федорович Годунов. По свойству и родству со всеми этими тремя фамилиями имел во дворце значение князь Иван Петрович Шуйский и, наконец, стремился удержать свое положение царского фаворита Богдан Яковлевич Бельский, который в последние годы Грозного пользовался большою любовью и доверием царя, хотя и не был пожалован в бояре. Эти лица не все одинаково дружили друг с другом. Повидимому Бельский готов был на интригу против прочих, а Годунов выжидал, не выступая пока на первый план.

2-го апреля интрига вскрылась. После приема литовского посла Льва Сапеги, когда бояре раз'ехались из Кремля по домам обедать, Бельский, опираясь на стрельцов, затворил Кремль и пытался убедить царя Федора сохранить «двор и опричнину» так, как было при его умершем отце. Повидимому он думал присвоить себе при этом первую роль, как старому опричнику, и устранить от царя «земских бояр» князя Мстиславского и Юрьева. Бояре получили тотчас же весть о происходящем в Кремле и бросились туда. Стрельцы Бельского однако отказались пропустить их в Кремль: успели туда проникнуть только Мстиславский «сам-третей» и Юрьев «сам-друг»—без обычной боярской свиты. Тогда их люди подняли крик, боясь, что Бельский погубит их господ; стрельцы же начали их бить. На шум сбежался народ: дело было у Кремлевских стен на Красной площади, где всегда была толпа у торговых

рядов. Пошел слух, что Бельский хочет побить—или уже и побил—бояр. Толпа рвалась в Кремль, стрельцы начали в нее стрелять и, по сведениям Л. Сапеги, человек двадцать убили. Началось прямое междоусобие: народ собрался штурмовать Кремль. К черни пристали «ратные люди», дворяне разных городов; добыли большую пушку («царь-пушку», как говорит летописец) и хотели ею «выбить вон» Спасские ворота. Из Кремля предупредили приступ. Земским боярам как-то удалось справиться во дворце с Бельским и освободить царя Федора от его внушений. Они вышли из Кремля к народу на площадь и спрашивали народ о причине его возмущения. Толпа требовала выдачи Бельского, потому что «он хочет извести царский корень и боярские роды». Озлобление против интригана оказалось так велико, что боярам легко было отделаться от Бельского. Не выдавая его толпе, они решили его сослать в Нижний-Новгород, о чем царским именем немедленно же и сказали народу. Москва успокоилась, и Бельский сошел со сцены надолго. Молва говорила, что он старался удержать в силе «опричнину» не для себя, а для того, чтобы «подыскати под царем Федором царства Московского своему советнику»; некоторые видели в этом советнике Бориса Годунова. Однако в 1584 году Борису было еще рано «подыскивать царства». Все дело Бельского прошло без участия Бориса, и в его результате Борис ни выиграл, ни проиграл. Выиграли дело старейшие бояре; «опричнина» с Бельским официально ушла из дворца и государства. У дел встал Никита Романович, которому, по общему признанию, принадлежала действительная опека над его родным племянником царем Федором, а вместе с нею и правительственное первенство.

Никита Романович Юрьев был стар; в августе 1584 года его постигла тяжкая болезнь, по всем вероятиям—удар, и он сошел с политической арены. Немедля выяснилось, что его место—царского опекуна и правителя государства—займет царский шурин Борис Годунов. На первый взгляд, это не казалось столь очевидным; на первом месте в боярском списке стоял старик князь И. Ф. Мстиславский, а не Годунов. Кроме чиновного первенства, он, как и Борис, обладал драгоценным для того времени преимуществом—родством с царской семьею. Правда, родство было не близкое (Иван Федорович Мстиславский был сыном двоюродного брата Ивана Грозного, иначе—внуком сестры

великого князя Василия III), но оно было давнее и потому сравнительно ценное. Однако Годунов перешел дорогу Мстиславскому, так как болезнь Никиты Романовича обнаружила близость Юрьевых именно к Годунову и засвидетельствовала какое-то соглашение между этими боярами, союз или связь их семей. Общая почва для такой связи ясна: и та, и другая семья принадлежала к позднейшему кругу московской дворцовой знати, обе держались благоволением Грозного и родством с Федором; обе имели одинаковые интересы во дворце и одних и тех же завистников и врагов. Союз их был естественным; но он не просто существовал, а был сознан и оформлен. Современники знали, что Никита Романович «вверил Борису соблюдение о чадах» своих. Эти «чада» были еще молоды, нуждались в поддержке и руководстве на трудном придворном пути, и заболевший старик поручил их тому же боярину, которому передавал и попечительство над царем. В свою очередь, Борис «клятву страшну тем сотвори—яко братию и царствию помогателя имети», то-есть поклялся считать их за братьев и помощников в деле управления. Так возник «завещательный союз дружбы» между двумя виднейшими семьями дворцовой знати, не хотевшими выпустить из своих рук фавор и власть. Дворцовое влияние эти семьи могли отстоять и сами, а власть в правительстве помогли им освоить и укрепить за собою виднейшие дельцы того времени думные дьяки братья Андрей и Василий Щелкаловы. Старший из них Андрей Яковлевич был в теснейшей близости с Никитою Романовичем, с которым вместе много лет служил Грозному; а затем сблизился он и с Борисом. Есть сведение, что для Бориса он был «наставником и учителем» в деле житейского преуспеяния: «како преходну быти ему от нижайших на высокая и от малых на великая и от меньших на большая и одолевати благородная» (слова Ив. Тимофеева). Между Борисом и Щелкаловыми существовала будто бы «клятва крестоклятвена», чтобы им, согласно всем трем, искать преобладания в правительстве—«к царствию утверження», как выразился современник. Таким образом ко времени болезни Никиты Романовича в Москве образовался крепкий союз деловых людей, направивший свои силы против родовой знати в пользу определенных семей царской родни.

Переход власти от И. Р. Юрьева к Борису, повидимому, был дурно принят родовитейшими боярами и повел к

«розни и недружбе боярской». По словам летописца, бояре «розделяхуся надвое»: одну сторону составили Годуновы: Борис «с дядьями и с братьями», другую—князь И. Ф. Мстиславский. К Годуновым «пристали и иные бояре и дьяки и думные и служивые многие люди», а с князем Мстиславским были князья Шуйские и Воротынские, Головины, Колычевы «и иные служивые люди и черь московская». Началась борьба за придворное влияние и положение, и Борис, по словам летописи, «осиливал». При Грозном дело не обошлось бы без крови; теперь же борьба разрешилась мягче. Сначала пострадали Головины: в конце 1584 года их устранили от должностей (казначеев), причем один из Головиных сбежал в Литву. Затем старший Мстиславский, Иван Федорович, служивший во дворце с 1541 года, был сослан в Кириллов монастырь и там был пострижен в монахи [1]). По глухому сообщению летописца, другие противники Бориса были разосланы по дальним городам, а кое-кто попал в тюрьму. Но, очевидно, это «гонение» не простиралось далеко: летописец не указывает поименно жертв Бориса, сосланных и заключенных, кроме названных выше; а из документов видно, что после пострижения старика Мстиславского его сын, князь Федор Иванович, наследовал его первенство в боярском списке и таким образом не пострадала даже семья главного противника Бориса.

Устранение старого Мстиславского по времени совпало с кончиною Никиты Романовича Юрьева (весна 1585 года). На вершинах боярства стояли теперь друг против друга Борис Годунов и князья Шуйские, выступившие на первый план с удалением Мстиславского. Шуйские желали продолжать борьбу с временщиком и повели ее осторожно, и столь хитроумно и сложно, что раскрыть их замыслы представляет большую трудность. Зачем-то они вовлекли в свою интригу общественные низы: «стали измену делать (выражалось о них правительственное сообщение), на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками». Слово «торговые» надо в данном случае перевести словом «площадные». Шуйские возбудили против Бориса московскую площадную толпу. В первой половине 1587 года в Москве

[1]) Есть предание, записанное под 7093 (1585) годом одним летописцем (в так называемой Латухинской книге), что, по наущению бояр, Мстиславский «умысли в дому своем пир сотворити и, Бориса призвав, тогда его убити», но что «Борису о том сказаша, он же нача изберегатися и невредим от них бысть».

произошел уличный беспорядок, направленный против господства Годуновых: «в Кремле городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили». Когда же отсиделись и справились с толпою, то начали «розыск»—следствие, по которому главными виновниками были признаны князья Андрей Иванович и Иван Петрович Шуйские. Их постигла государева опала: они были сосланы, имущество их конфисковано. Молва говорила, что в ссылке пристава Шуйских позаботились об ускорении их кончины. Приятели Шуйских, Колычевы, Татевы и другие, были также сосланы. Их «люди» (холопы) и «торговые мужики» подверглись пыткам, а шесть или семь из них были даже казнены, «главы им отсекоша». Московское правосудие за одно и то же дело всегда карало боярина ссылкой, а «мужика-вора» смертною казнью. В чем именно оказались виноваты потерпевшие на пытках и в ссылках, никто из современников прямо не об'ясняет. Можно только догадываться, что «площадь» пыталась учинить «мирское челобитье» о том, о чем ее научили просить враждебные Борису бояре и о чем рискнул просить царя вместе с боярами и московский митрополит Дионисий. Просили царя ни более, ни менее, как о том, «чтобы ему, государю, вся земля державы царские своея пожаловати: приняти бы ему вторый брак, а царицу первого брака Ирину Федоровну пожаловати отпустити в иноческий чин; и брак учинити ему царского ради чадородия». Дело в том, что у царя не было детей; та мысль, что у царя был брат Димитрий, видимо, не играла никакой роли в умах; боялись прекращения династии и думали избежать этого бедствия, устранив неплодную царицу. Забота о благополучии династии была, конечно, благовидна и лойяльна; но она была внушена Шуйским и их сторонникам не одною любовью к династии и государству, но еще и надеждой, что вместе с удалением царицы падет и ее брат Борис, ненавистный челобитчикам. Расчет был тонок и хитер, но оказался неосновательным. Челобитчики все таки ошиблись: если бы Ирина была действительно неплодна, их челобитье имело бы смысл; но царица несколько раз перенесла несчастные роды до тех пор, пока у нее родилась дочь Феодосия (1592). Поэтому речь о разводе была преждевременна и очень бестактна, а вмешательство площадной толпы в такое интимное дело могло представиться дерзким и преступным. Сохраняя порядочность и достоинство власти, Борис мог

говорить, что Шуйские «стали перед государем измену делать, неправду, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками,... а мужики, надеясь на государскую милость, заворовали было, не в свое дело вступились, к бездельникам пристали». Митрополит Дионисий, поддержавший своим участием «бездельное» челобитье, оказался в ложном положении и должен был оставить митрополию и удалиться в монастырь, потому что тоже «к бездельникам пристал».

Так столкновения с виднейшими представителями знати окончились для Бориса полным торжеством, причем Борис имел вид человека не нападавшего, а только оборонявшегося. Не он вел интригу, он, по словам летописи, лишь «осиливал» своих врагов, которые на него покушались. Он опекал царя и «поддерживал» под ним власть; они же «ему противляхуся и никакож ему поддавахуся ни в чем». Преследования бояр имели вид наказания за сопротивление законной власти и за покушение на семейную жизнь царя. Преследование не напоминало жестокостей Грозного. Бояр не губили (покрайней мере явно), людей ссылали и казнили по розыску и суду. На Бориса можно было злобиться и злословить, но его нельзя было сравнить с Грозным и назвать тираном и деспотом. Прием власти стал иным и не даром правительство указывало, что мужики «заворовали», «надеясь на государеву *милость*».

VI.

С кончиною Н. Р. Юрьева, удалением И. Ф. Мстиславского и опалою Шуйских, к лету 1587 года в Москве уже не было никого, кто мог бы соперничать с Борисом. Дети Юрьева, известные в Москве под фамильным именем «Никитичей» и Романовых, были пока в «соблюдении» у Бориса, за его хребтом, по старинному выражению. Младший Мстиславский не имел личного влияния. Прочие бояре и не пытались оспаривать первенства у Бориса. Борис торжествовал победу и принял ряд мер к тому, чтобы оформить и узаконить свое положение у власти при неспособном к делам государе. Меры эти очень остроумны и интересны.

Официально царь Федор Иванович, конечно, не почитался тем, чем, как мы видели выше, обозвал его шведский король, усвоив выражение московского просторечия.

О неспособности и малоумии Федора не говорилось. Указывали на чрезвычайную богомольность и благочестие царя: «зело благочестив и милостив ко всем, кроток и незлоблив, милосерд, нищелюбив и страннопримец». Богомольность Федора была повидимому всем известна. Из нее выводили два следствия: во-первых, Федор угодил Богу своим благочестием и привлек на свое царство божіе благоволение; Бог послал ему тихое и благополучное царствование, и тихий царь молитвою управлял лучше, чем разумом. Во-вторых, благодетельствуя своему народу, как угодник божий, Федор не почитал необходимым сам вести дело управления: он избегал «мирской докуки», удалялся от суеты и, устремляясь к Богу, возложил ведение дел на Бориса. В царе Федоре «иночества дела̀ потаено диадимою покровены»; в нем «купно мнишество с царствием соплетено без раздвоения едино другого украшаше». Царь, инок без рясы и пострижения, «время всея жизни своея в духовных подвизех изнурив», не мог обойтись без правителя. При таком государе «правительство» Бориса получало чрезвычайную благовидность: он не просто попечитель над малоумным, он доверенный помощник и по родству исполнитель воли осиянного благодатью Господнею монарха. На особую близость Бориса к царю и на особую доверенность царя к Борису в Москве любили указывать,— конечно, по велению самого правителя. Уже в 1585 году один из московских дипломатов говорил заграницей, в Польше, официально о Борисе, что «то—великий человек боярин и конюший, а се государю нашему шурин, а государыне нашей брат родной, а разумом его Бог исполнил и о земле великой печальник». «Великого человека» представляли и англичанам, как «кровного приятеля» царского и «правителя государства» (livetenant of the empire), еще в 1586 году, задолго до той поры, когда Борису официально усвоены были права регента в международных сношениях. По сообщениям из Москвы, бывшие в сношениях с Москвою иностранные правительства привыкли адресоваться к Борису, как к соправителю и родственнику московского государя. Таким образом Борис постарался создать о себе общее представление, как о лице, принадлежащем к династии, и естественном соправителе благочестивейшего государя.

Исключительное правительственное положение Бориса кроме общего житейского признания, должно было полу-

чить и внешнее официальное выражение. У некоторых современников иностранцев находится запись (у Буссова и Петрея) о том, «что будто бы царь Федор, тяготясь правлением, предоставил боярам избрать ему помощника и заместителя. Был избран именно Борис. Тогда с известною церемонией, в присутствии вельмож, Федор снял с себя золотую цепь и возложил ее на Бориса, говоря: «что вместе с этой цепью он снимает с себя бремя правления и возлагает его на Бориса, оставляя за собою решение только важнейших дел». Он будто бы желал остаться царем («ich will Kayser seyn»), а Борис должен был стать правителем государства (Gubernator der Reussischen Monarchiae). Уже Н. М. Карамзин отнесся к этому рассказу с явным сомнением: в нем действительно мало соответствия московским обычаям. Вряд ли Борис нуждался в подобной церемонии боярского избрания и царской инвеституры: она только дразнила бы его завистников бояр. Борис достигал своего другими способами.

Во-первых, он усвоил себе царским пожалованием исключительно пышный и выразительный титул. Наростая постепенно, этот титул получил такую форму: государю великому шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского. Значение этого титула пояснил своими словами посол в Персию князь Звенигородский так: «Борис Федорович не образец никому»... «у великого государя нашего... многие цари и царевичи и королевичи и государские дети служат, а у Бориса Федоровича всякой царь и царевичи и королевичи любви и печалованья к государю просят, а Борис Федорович всеми ими по их челобитью у государя об них печалуется и промышляет ими всеми». Неумеренная гипербола этого отзыва направлена была к тому, чтобы хорошенько об'яснить «правительство» Годунова и его превосходство над всеми титулованными слугами московского государя.

Во-вторых, Борис добился того, что боярская дума несколькими «приговорами», постановленными в присутствии самого царя, усвоила Борису официально право сношения с иностранными правительствами в качестве высшего правительственного лица. Право было дано на том основании, что к иностранным дворам «от конюшего и боярина от Бориса Федоровича Годунова грамоты писати

пригоже ныне и вперед: то его царскому имени к чести и к прибавленью, что его государев конюший боярин ближний Борис Федорович Годунов ссылатись учнет с великими государи». С тех пор (1588—1589 гг.) начали общим порядком «от Бориса Федоровича писати грамоты в Посольском приказе, и в книги то писати особно, и в посольских книгах под государевыми грамотами». Борис, как правитель, выступил в сфере международной и благодаря этому окончательно стал вне обычного порядка московских служебных отношений, поднявшись над ним, как верховный руководитель московской политики. Способ, каким «писали в посольских книгах» об участии Бориса в дипломатических переговорах, явно клонился к преувеличенному возвышению «правителя». Вот как, например, просил—в московском официальном изложении—цесарский посол Бориса о помощи против турок: «И посол говорил и бил челом Борису Федоровичу: Цесарское величество велел тебе, великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Русии самодержца его царского величества шурину, вашей милости Борису Федоровичу бити челом, и всю надежду держит на ваше величество, чтобы ваша милость был печальник царскому величеству, чтоб царское величество брата свое цесарского величества челобитье не презрел, учинил бы ему помочь против христьянского неприятеля Турского царя». На такую смиренную просьбу императора Борис дает простой и благосклонный ответ: «О которых естя делех со мною говорили, и яз те все дела донесу до царского величества, и на те вам дела ответ будет иным временем». Так или не так об'яснялся Борис с послом, все равно: официальная запись делала Бориса между двумя «величествами»—царем и цесарем—третьим «величеством», правителем царства, который «правил землю рукою великого государя».

В-третьих, наконец, Борис установил для своих официальных выступлений как в царском дворце, так и на своем «дворе» старательно обдуманный «чин» (этикет), тонкости которого были направлены, как и официальные записи, к тому, чтобы сообщить особе Бориса значение не простого государева слуги, а соправителя «величества». Во дворце, во время посольских приемов, Борис присутствовал в особой роли; он стоял у самого трона, «выше рынд», тогда как бояре сидели поодаль «в лавках». В последние годы царствования Федора Борис обычно при

этом держал «царского чину яблоко золотое», что и служило наглядным знаком его «властодержавного правительства». Когда в официальных пирах «пили чаши государевы», то вместе с тостами за царя и других государей следовал тост и за Бориса, «пили чашу слуги и конюшего боярина Бориса Федоровича». Иноземные послы, приезжавшие в Москву, после представления государю, представлялись и Борису, притом с большою торжественностью. У Бориса был свой двор и свой придворный штат. Церемония «встречи» послов на Борисовом дворе, самого представления их правителю, отпуска и затем угощения (посылки послам «кормов») была точною копиею царских приемов. Борису «являли послов» его люди: встречал на лестнице «дворецкий», в комнату вводил «казначей», в комнате сидели, как у царя бояре, Борисовы дворяне «отборные немногие люди в наряде—в платье в золотном и в чепях золотых». Прочие люди стояли «от ворот по двору по всему и по крыльцу и по сенем и в передней избе». Послы подносили Борису подарки («поминки») и величали его «пресветлейшим вельможеством» и «пресветлым величеством». Послам всячески давалось понять, что Борис есть истинный носитель власти в Москве и что все дела делаются «по повеленью великого государя, а по приказу царского величества шурина». После приема у себя Борис потчивал послов на их «подворье», как это делал и государь, «еством и питьем», причем по обилию и роскоши стол не уступал царскому: например, «посылал Борис Федорович к цесареву послу на подворье с еством и с питьем дворянина своего Михаила Косова, а с естевы послано на сте на тринадцати блюдех да питья в осми кубках да в осми оловяниках».

Если к перечисленным отличиям Бориса присоединим еще то, что в его руках сосредоточились за время регентства весьма значительные личные богатства, то получим последнюю черту для характеристики его положения. Англичане, бывшие в Москве во время Бориса, прямо поражались его богатством. Флетчер, очень трезвый и основательный наблюдатель, сообщает нам точную (по, к сожалению, не поддающуюся документальной проверке) сумму ежегодных доходов Бориса—«93.700 рублей и более». Приводя же различные слагаемые этой суммы, Флетчер сам превышает свой итог и по различным статьям прихода Бориса насчитывает 104.500 рублей. В счет Флетчера входят: доходы Бориса с вотчин (в Вязьме и Дорогобуже)

и с поместий во многих уездах; доходы с области Ваги, с Рязани и Северы, с Твери и Торжка; доходы с оброчных статей в самой Москве и вокруг нее по Москве-реке; жалованье по должности конюшего и, наконец, «пенсия от государя». Изо всех других вельмож московских по размерам своего дохода к Борису несколько подходил только его свояк князь Глинский, который, по счету Флетчера, имел до 40.000 рублей в год; остальная знать будто бы далеко отставала от них в богатстве. Горсей, другой англичанин, хорошо знакомый с русскими делами времени Бориса, гиперболичен еще более Флетчера в исчислении Борисовых богатств: по его счету общая сумма доходов Бориса равнялась 185.000 фунтов стерлингов (или марок, или рублей). «Борис Федорович и его дом», говорит Горсей: «пользовались такой властью и могуществом, что в какие-нибудь сорок дней могли поставить в поле 100.000 хорошо снаряженных воинов».

Как ни преувеличены эти отзывы, они свидетельствуют о том, что в руках Бориса сосредоточилось все, что потребно было для политического господства: придворный фавор и влияние, правительственное первенство и громадные по тому времени средства. Приблизительно с 1588—1589 гг. «властодержавное правительство» Бориса было узаконено и укреплено. Бороться с ним не было возможности: для борьбы уже не стало законных средств; да ни у кого не хватало и сил для нее. «С этих пор (говорит К. Н. Бестужев-Рюмин) политика московская есть политика Годунова».

VII.

Если бы господство и власть Бориса Годунова основывались только на интриге, угодничестве и придворной ловкости, положение его в правительстве не было бы так прочно и длительно. Но, без всякого сомнения, Борис обладал крупным умом и правительственным талантом и своими качествами превосходил всех своих соперников. Отзывы о личных свойствах Бориса у всех его современников сходятся в том, что признают исключительность дарований Годунова. Иван Тимофеев ярче других характеризует умственную силу Бориса: он находит, что хотя в Москве и были умные правители, но их «разумы» можно назвать только «стенью», то-есть тенью или подобием разума Бориса; и при этом он замечает, что такое превос-

ходство Бориса было общепризнанным, «познано есть во всех». Не менее хвалебно отзывается о Годунове и другой его современник, автор «написания вкратце о царях московских»; он говорит: «царь же Борис благолепием цветущ и образом своим множество людей превосшед... муж зело чюден, в рассужении ума доволен и сладкоречив вельми, благоверен и нищелюбив и строителен зело (то-есть распорядителен, хозяйствен)». Иностранцы вторят таким отзывам москвичей. Буссов, например, говорит, что, по общему мнению, никто не был способнее Бориса к власти по его уму и мудрости («dem keiner im gantzen Lande an Weissheit und Verstande gleich wäre»). Голландец Масса, вообще враждебный Борису, признает однако его способности: по его словам, Борис имел огромную память и, хотя не умел будто-бы ни читать, ни писать, тем не менее все знал лучше тех, которые умели писать. Масса думает, что, если бы дела шли по желанию Бориса, то он совершил бы много великих дел. Словом, современники почитали Бориса выдающимся человеком и полагали, что он по достоинству своему получил власть и хорошо ею распоряжался, «в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант облечеся (по выражению князя Ив. А. Хворостинина) и прием славу и честь от царей». Несмотря на распространенность мнения о неграмотности Бориса, надлежит считать его человеком для его времени просвещенным. Те, которые считали Бориса неграмотным, просто ошибались: сохранилось несколько подписей Бориса под «данными» грамотами [1]). Сведущие современники указывали повидимому не на то, что Борис был неграмотен, а на то, что он не обладал даже и малою начитанностью: «Грамматичного учения не сведый же до мала от юности, яко ни простым буквам навычен бе», говорит Тимофеев: «и чюдо! первый бо той в России деспот бесннжен бысть!» «И чюдо! яко первый таков царь не книгочий нам бысть!» повторяет он в другом месте. То же самое разумеет и Авр. Палицын, когда пишет, что Борис «аще и разумен бе в царских правленних, но писания божественного не навык». Таким образом Борис не принадлежал к числу людей книжных, но в «царских правлениях», как практический деятель, политик и администратор, он отнюдь не был неучем и

[1]) Факсимиле их можно видеть в «Чтениях Моск. Общества Истории и Древностей Росс.» за 1897 год, книга I.

невеждою. Напротив, есть полное основание думать, что умственный кругозор Бориса для той эпохи был необычно широк и что Борис не только разумел широко и тонко все задачи и интересы государства в духе старой московской традиции, но являлся сторонником культурных новшеств и заимствований с Запада. А затем Борис поражал своих современников проявлениями гуманности и доброты столь неожиданными и необычными после тиранических замашек и зверской жестокости Грозного. Устами своих агентов сам правитель официально хвалился тем, что всюду водворял порядок и правосудие, что «строенье его в земле таково, каково николи не бывало: никто большой, ни сильный никакого человека, ни худого сиротки не изобидят». «Зело строительный», по слову современника, Борис не только хотел казаться, но и на деле был «светлодушен» и «нищелюбив» и много поработал для бедных и обиженных. Об этом говорят нам современники Бориса, не бывшие его безусловными поклонниками. Тимофеев слагает Борису целую похвалу; если несколько приблизить к нашему строю речи его вычурные фразы, то эта похвала может быть передана так: Борис был «требующим даватель неоскуден»; кротко преклонял свое внимание к «миру» во всяких мирских мольбах; «во ответех всем сладок»; «на обидящих молящимся беспомощным и вдовицам отмститель скор»; «о земли правленых прилежанием премног»; «правосудства любление имел безмездно»; «неправде всякой изниматель нелестен»; «доможительное всем во дни его пребывание в тихости необидно»; «насилующим маломочных возбранение уемно, разве обид ких слух его не прият»; «обидимых от рук сильных изыматель крепок»; «богомерзкому винопития продаянию отнюдное искоренение с наказанием»; «зелных мздоимству всему вконец умерщвение непощаденно бяше, мерзко бо ему за нрав»; «на всяко зло, сопротивное добру, искоренитель неумолим, яко же имем (за) доброе мздовоздатель нелестен». Некоторая трудность языка и наклонность к тавтологии не могут, конечно, отнять силу у этой поразительной характеристики: она воссоздает пред читателем идеальный образ бескорыстного, доброго, справедливого и внимательного правителя. Таков именно, по представлению Тимофеева, был Борис до той поры, пока не был «превзят любовластием». В силе похвал Борису с Тимофеевым равняется и автор так называемого «Хронографа второй

редакции»: по его словам, Борис «ко мздоимании зело бысть ненавистен»; «разбойства и татьбы и всякого корчемства много покусися еже бы во свое царство таковое неблагоугодное дело искоренити, но не возможе отнюдь»; «естеством светлодушен и правом милостив, паче же рещи и нищелюбив»; «всем бо неоскудно даяние простираше», «и тако убо цветяся, аки финик, листвием добродетели». Менее склонен к восхвалению Бориса Авр. Палицын; но и у него находятся красноречивые слова: «царь же Борис о всяком благочестии и о исправлении всех нужных царству вещей зело печашеся»; «о бедных и о нищих крепце промышляше, и милость от него к таковым велика бываше, злых же людей люте изгубляше»; «и таковых ради строений всенародных всем любезен бысть». Сохранились сведения об одной любопытной привычке Бориса. Вообще приветливый и мягкий в обращении с людьми, он был скор на обещание содействия и помощи; часто в таких случаях брался он за шитый жемчугом ворот своей рубашки и говорил, что и этой последнею готов он поделиться с теми, кто в нужде и беде. Этот привычный для Бориса жест уловили многие из его современников. О нем упоминают немцы, лично видавшие Бориса: К. Буссов (...«Grif mit den Fingern an seinen perlen Hals-Band und sprach: solten wir auch denselben mit euch theilen») и цесарский посол Варкоч (...«aber ihm mit Geld und Schätzen zu helfen, wäre er jederzeit bereit,«biss aufm Rockh vom Rockh auf's hemmet vnd von dannen biss auf die Gorgl»). Жест Бориса смутил и одного из московских очевидцев: Авраамий Палицын, описывая венчание Бориса на царство, говорит, что, стоя под благословляющею рукою патриарха Иова, Борис «не вемы, что ради, испусти сицев глагол зело высок: «се, отче великий патриарх Иов, Бог свидетель сему: никтоже убо будет в моем царствии нищ или беден!» И тряся верх срачицы на себе, «и сию последнюю» рече, «разделю со всеми!»—Палицыну «глагол» Бориса показался «высоким», то есть слишком самонадеянным, даже «богомерзостным», и он осудил тех, кто посочувствовал Борису. А посочувствовали все присутствовавшие в церкви, так как «глагол» Бориса видимо понравился и произвел впечатление: «словеси же сему вси такающе (заметил Палицын) и истинно глаголюща (Бориса) ублажающе».

Таков был «бодрый» правитель Московского государства. Происходя из старой московской знати, он однако

сделал свою карьеру не «великою своей породою», а придворным фавором, тем, что стал по свойству близким к государевой семье человеком, «царским шурином». Поставленный всем ходом дворцовых отношений против бояр-княжат, он именно в княженецких семьях встретил деятельную оппозицию на первых же шагах своей политической карьеры и неизбежно должен был бороться за власть с княжескими семьями Мстиславских и Шуйских. Тот же ход отношений сблизил Бориса с кругом Никиты Романовича и, по смерти его, поставил Бориса как бы во главе всего круга дворцовой знати, ибо Борис, получив от Никиты Романовича «в соблюдение» его детей и находясь во главе своей собственной родни—Годуновых, в сущности опекал всю царскую родню и представлял интересы всех членов дворцового круга, создавшегося вокруг Грозного взамен разбитой Грозным старой знати. Победа, одержанная Борисом над княжатами Шуйскими, Мстиславскими и др., была прочной, потому что Борис оказался талантливым политиком. Он укрепил свое положение у власти не только интригою и фавором, но и умной правительственной работой, а равно и тем, что «ради строения всенародных всем любезен бысть», то-есть, иначе говоря, тем, что сумел стать популярным, показав свою доброту и административное искусство правителя.

Глава вторая.

ПОЛИТИКА БОРИСА.

I.

Вслед за чрезвычайным политическим напряжением при Грозном Московское государство после его кончины переживало тяжелое похмелье. Длительная война с Литвою и Швецией за Балтийское побережье окончилась полною неудачею, и Грозный уступил своим противникам все, что успел завоевать в первый, счастливый период войны, поступившись даже кое-какими и собственными землями. Напрасно поклонники талантов короля Стефана Батория говорили, что Грозный был побежден именно этими талантами, и напрасно Карамзин писал, что «если бы жизнь и гений Баторий не угасли до кончины Годунова, то слава России могла бы навеки померкнуть в самом первом десятилетии нового века». Карамзин искренно думал, что «столь зависима судьба государств от лица и случая, или от воли Провидения!» Более справедлива мысль, что провидение послало Грозному поражение и неудачу не столько от «гения» Батория, сколько от той разрухи, которая создалась внутри Московского государства, как следствие опричины и вызванных ею беспорядочной мобилизации земель и отлива населения из государственного центра на восток и юг. Принимая на себя энергичные удары Батория, Грозный был ими опрокинут потому, что за собою имел пустой тыл и расстроенную базу. Государь, который в 1562 году мог бросить под Полоцк такую массу полевого войска, что она в лесах по дорогам «сметалася» и «позатерлася» и надобно было ее с усилием «разобрать», «развести» и «пропустить»,—к 1579—1580 годам уже вовсе не имел полевой армии и избегал встреч со врагом в открытом поле. Ядовито указывал на это Грозному Курбский, говоря: «собравшися со

всем твоим воинством, за лесы забившися, яко един хороняка и бегун, трепещешь и исчезаешь, никомужь гонящу тя». Курбский понимал, что «все воинство» Грозного было так числом ничтожно, что царь чувствовал себя почти что одиноким («един хороняка») и должен был бегать и прятаться. Курбский об'яснял это тем, что Грозный «всех был до конца погубил и разогнал»; но, разумеется, это надлежало об'яснять более общею причиною стихийного свойства: у Грозного просто не стало людей и средств для борьбы.

Мир с врагами был заключен незадолго до смерти Грозного (1582—1583), и царь кончал свой земной путь с горьким сознанием понесенного поражения [1]). Конечно, с таким же сознанием по смерти Грозного принимал власть Борис. На его плечи падала забота о возможном смягчении последствий крупной политической неудачи и о восстановлении поколебленного войною престижа силы и предприимчивости Москвы. Равным образом на него же ложилось бремя, созданное внутренним кризисом: ему приходилось думать о воссоздании хозяйственной культуры в центральных областях государства, покидаемых рабочим населением, и о восстановлении там служилой и податной организации, расшатанной кризисом. В этих двух направлениях и действовала главным образом правительственная энергия Бориса.

II.

Нет нужды особенно углубляться в подробности тех дипломатических сношений, какие происходили между правительствами царя Федора и короля Стефана Батория. По отзыву одного из серьезнейших историков (К. Н. Бестужева-Рюмина), это были «самые трудные» сношения того времени. Король мечтал, после своих побед, о дальнейшем торжестве над Москвою, даже о полном ее подчинении. В его грандиозных планах овладение Москвою было только одним из средств к завоеванию Турции. «По его соображениям (говорит Ф. И. Успенский) разрешение восточного вопроса должно начаться с подчинения Московии;

[1]) «Вечного мира» достигнуто не было: война закончилась перемирием: с Баторием в январе 1582 г. на 10 лет, а со шведами в августе 1583 г. на 3 года. Достигнуть «докончания» или вечного мира было трудно по взаимной неприемлемости взглядов и стремлений воюющих.

московская война может быть окончена в три года; за подчинением Москвы последует завоевание Закавказья и Персии, движение на Константинополь со стороны Малой Азии и завладение проливами». Открытые о. Павлом Пирлингом материалы раскрывают эти планы Батория. Королю казалось, что действия против Москвы не представят трудностей: Московией управляет больной и слабый государь; на деле власть перешла к боярам, которые борются за преобладание; народ будто бы помышляет об избрании нового государя. Сообщенные в Рим, через Поссевина и других дипломатов, планы Батория вызвали там сочувствие (папы Сикста V); а это сочувствие в свою очередь окрыляло королевскую политику и делало ее надменною и притязательной в сношениях с Москвой. Если бы король чувствовал под собою твердую почву в Речи Посполитой, Москве предстояла бы, может быть, новая борьба с Баторием и— кто знает!—новое поражение и подчинение королю. Королю сочувствовал его канцлер Замойский; его планами увлекался знаменитый Поссевин и другие иезуиты; но паны и шляхта, не посвященные в виды Батория и утомленные его войнами, не желали новой войны и боялись разных политических осложнений. Это обстоятельство связывало руки Баторию и склоняло его к осторожности. С другой стороны, Московские политики не удовлетворяли Батория своим тоном и поведением. Москва боялась Батория, о чем определенно и не раз писал из Москвы посол его Л. Сапега тотчас по смерти Грозного. Московское правительство готово было на всякого рода уступки, пожалуй даже на унижение, только бы добиться на первое время мира, «взять перемирие». Оно, например, отпустило литовских пленных без окупа и согласилось в то же время заплатить окуп за русских пленных. Оно давало своим послам наказ быть уступчивыми и все, что казалось бы им неприемлемым в поведении короля и панов, оговаривать мягко, не идя на разрыв. Но в то же время оно приказывало послам отмечать при всяком удобном случае, что обстоятельства в Москве переменились, и что Москва готова не только к обороне, но и к наступлению. Много раз московские послы в переговорах говорили примерно такие речи: «теперь Москва не по старому, государю у них (в Литве) мира не выкупать стать, государь против короля стоять готов; и драницы (то-есть, доски с кровли) с одного города государь наш не поступится»;

«теперь Москва не старая: надобно от Москвы беречися уже не Полоцку, не Ливонской земле, а надобно беречися от нее Вильне». Когда паны пробовали опровергать эту похвальбу, они слышали упорное ее повторение. Паны говорили: «на Москве что делается, то мы также знаем: людей нет, а кто и есть, и те худы, строенья людям нет, и во всех людях рознь». В ответ им московские дипломаты не без яда замечали: «над государством нашим никакого греха не видим, а только милость божию и благоденствие; вы еще с Богом не беседовали, а человеку того не дано знать, что вперед будет; ...государь наш дородный (то есть рослый, полный, красивый), государь разумный и счастливый; сидит он на своих государствах по благословению отца своего и правит государством сам (в противоположность Баторию—избранному и ограниченному);... людей у него много, вдвое против прежнего, потому что к людям своим он милостив и жалованье дает им, не жалея своей государской казны, и люди ему все с великим раденьем служат и вперед служить хотят и против всех его недругов помереть хотят; в людях розни никакой нет». Как паны знали про московское оскудение и рознь, так и московские бояре знали, что в Литве нет единения между Баторием и его панами. Сообразно с этим московские дипломаты и получали приказание: будет у короля с панами рознь есть, то надлежит поднять тон: «если паны станут говорить высоко, и вы отвечайте им высоко же»; «если же почаете, что у короля с панами розни большой нет», то «по конечной неволе» необходимо идти на всякие уступки, чтоб непременно, «хотя на малое время», заключить перемирие. Таким образом московская дипломатия проявляла значительную гибкость и, в меру своей осведомленности, меняла тон и поведение. Благодаря этим обстоятельствам, то-есть внутренней оппозиции в Речи Посполитой и московской увертливости, Баторий не решился на войну. Он пред'являл московскому посольству (князя Троекурова и Безнина в феврале 1585 года) требование уступки Смоленска, Северской земли, Новгорода, Пскова, грозил разрывом, но все-таки согласился продлить действие мирного договора на два года (до 3 июня 1587) г.), а затем и сам послал в Москву посла Михаила Гарабурду с предложением вечного мира и династической унии Москвы с Речью Посполитой. Миссия Гарабурды (1586 г.), обставленная обычными требованиями уступок и угрозами разрыва,

не имела успеха, но повела к дальнейшим сношениям и разговорам о вечном мире и унии государств. Москва держалась своей политики—уступок в решительную минуту и угроз при первой к тому возможности: она решилась даже потребовать у Батория уступки Киева, Полоцка, Витебска, Торопца и Лифляндских городов, соглашаясь только на этом условии говорить о вечном мире. Стороны, конечно, понимали, что взаимные требования неумеренных земельных уступок представляют собою только известный способ начинать деловые переговоры и потому, погорячась, «многие укоризненные и непристойные выговаривали речи», а в конце концов, не уступив друг другу ничего, дошли до результата: продлили двухлетнее перемирие на два месяца (до 3 августа 1587 года).

Это соглашение было достигнуто посольством кн. Троекурова и Писемского в августе 1586 года, а 12 декабря того же года Баторий умер. С его кончиною вышли из политического оборота вдохновлявшие его идеи завоевания Москвы и Турции и померкли на время мечты Поссевина и папы Сикста V об обращении Москвы в орудие папской политики. В жизни Речи Посполитой наступил темный период безкоролевья с обычными интригами и борьбою партий, сопровождавшими королевскую «элекцию» (или по-московски: «олекцыю»). Мысль об унии Речи Посполитой и Москвы мелькала в дипломатических переговорах тех лет. Из Литвы подсказывали Москве мысль об унии: там желали в великие князья царя Федора, во-первых, по его характеру, пассивному и кроткому, а во-вторых, потому что боялись кандидата католика и возможных от него гонений на православие. Москва отозвалась на зов из Литвы и решила принять участие в «олекцыи», поставив кандидатуру царя Федора. Повидимому, в Москве больше всего боялись избрания выставленного канцлером Замойским шведского королевича Сигизмунда, который мог соединить на себе польско-литовскую корону со шведской. В начале 1587 года в Литву был послан Елизарий Ржевский с грамотами к панам рады польским и литовским. В грамотах царь Федор об'яснял, что, услышав о кончине короля Стефана, он решил показать «безгосударным» свое милосердие и ласку и потому послал своего дворянина «в ваших невзгодах вас понавестити и наше милосердие и жалованье вам об'явити»; «и вы бы, панове рада светские и духовные все посполу коруны Польские и великого

княжества Литовского (продолжал Федор), смолвившися меж собою и со всею землею, о добре христианском порадели и нашего жалованья к себе и государем нас на коруну Польскую и на великое княжество Литовское похотели». В случае избрания царь обещал многое: «мы ваших панских и всего рыцерства и всее земли коруны Польские и великого княжества Литовского справ и вольностей нарушивати ни в чем не хотим, еще и сверх вашего прежнего, что за вами ныне есть, во всяких чинех и в отчинах прибавливати и своим жалованьем наддавати хотим».Но московские нравы и понятия были так далеки от польско-литовских, что Москва не могла примениться к условиям «олекцыи» и не умела делать скоро и ловко все то, что требовалось избирательной кампанией. Из Москвы не догадывались во-время обещать и давать ни денег, ни обязательств, ни подарков; не обнаруживали надлежащей податливости и ласки; круто ставили щекотливые вопросы о вероисповедании будущего короля и великого князя и о его резиденции. Выяснилось, что царь Федор веры не переменит, в Литве и Польше жить не станет и к щедрым выдачам вообще не склонен. Кандидатура московского государя при таких условиях теряла свою привлекательность даже для тех, кто ее искренно желал: «все хотели есми и жаждали всем сердцем государя вашего» (говорили московским послам паны «вся Литва и поляков большая половина»), да стало за верою да за приездом, что государь ваш скоро не приедет». Желательный кандидат вел себя так, что оказывался неудобным. И дело расстроилось: партия Сигизмунда взяла верх и короновала его в Кракове (в декабре 1587 г.). В конечном результате кандидатура Федора принесла Москве материальные убытки и только один успех: во время междуцарствия польское правительство заключило с Москвою перемирие на 15 лет (с августа 1587 г. по август 1602 г.). В начале 1591 года это перемирие (до 1602 года) было подтверждено новым договором, совершенным в Москве с посольством Сигизмунда после неприятнейших пререканий, которыми имели обычай сопровождать свои встречи дипломаты Москвы и Литвы. Казалось, что за свое ближайшее будущее Москва могла быть теперь спокойна; по крайней мере на ближайшее десятилетие миновала опасность нападений со стороны Речи Посполитой. То обстоятельство, что Сигизмунд был наследником Шведской короны и мог осуществить унию

враждебных Москве, Швеции и Речи Посполитой, теперь не страшило Москвы. Москва воевала со Швецией, отстраняя вообще вмешательство Сигизмунда в шведско-московские отношения; она готова была принять посредничество литовской дипломатии только в деле заключения со Швецией «вечного мира». Подобная дальновидность и твердость делали честь московским дельцам: они рано почуяли, что личные свойства Сигизмунда лишат его популярности как в Речи Посполитой, так затем и в Швеции (где он получил престол в конце 1592 года). Уже в конце 1589 года (или в самом начале 1590 г.) московский гонец А. Иванов сообщал в Москву вести из Литвы, что нового короля Сигизмунда держат ни за что, потому что промыслу в нем нет никакого, и неразумным его ставят и землею его не любят. Эти вести пошли в Москве к успокоительным умозаключениям,—и Москва начала войну со Швецией.

Отношения Москвы со Швецией после смерти Грозного носили иной характер, чем отношения с Речью Посполитой. Баторий в Москве боялись, Швеции повидимому—нет. Война со Швецией, по выражению С. М. Соловьева, «считалась необходимостью: Баторию при Иоанне уступлена была спорная Ливония; но в руках у шведов остались извечные русские города, возвратить которые требовала честь государственная». Кроме того, внутреннее состояние Швеции было таково, что подавало ее врагам надежды. «Положение Швеции становилось», говорит Г. В. Форстен: «год от году безотраднее: в государстве несколько лет подряд были неурожаи, народ голодал, вымирали целые деревни; в довершение всех бед начались заразительные болезни, смертность достигала небывалой суммы».

Король Иоанн расстроил финансы страны и обострил свои отношения к шведской аристократии. Московские дипломаты умели наблюдать и делать правильные выводы. В 1585 году после бранчивых переговоров московские послы князь Ф. Шестунов и Игн. Татищев заключили «по конечной неволе» со шведами договор о продлении существовавшего перемирия на четыре года, ибо в Москве еще не видели возможности с успехом обнажить меч. Предполагали только, что шведы согласятся отдать за выкуп русским их города Иваньгород, Ям, Копорье и Корелу. Шведы не соблазнились на выкуп, и Москва решила ждать лучшей поры. Через четыре года, в 1589 году, когда внутреннее расстройство Швеции стало яснее, а солидар-

ности Литвы и Швеции не оказалось, Москва заговорила другим языком. Послам велено было «говорить с послами (шведскими) по большим, высоким мерам, а пос л дняя мера: в государеву сторону Нарву, Иваньгород, Яму, Копорье, Корелу без накладу, без денег».

Если бы шведы согласились на «последнюю меру», то послам разрешено было соглашаться на «вечный мир». Но шведы не соглашались, и русские грозили им: «Государю нашему, не отыскав своей отчины, городов Ливонской и Новгородской земли, с вашим государем для чего мириться? Теперь уже вашему государю пригоже отдавать нам все города, да и за под'ем государю нашему заплатить, что он укажет». Такие речи могли повести только к разрыву и войне.

Московское правительство начало военные действия тотчас по истечении срока перемирия—в январе 1590 года. Русское войско было направлено к Нарве. Оно взяло Яму и Иваньгород, штурмовало самую Нарву, но не овладело ею. Перемирие, скоро заключенное, уже в феврале 1590 года, оставило за Москвою на один год занятую ею территорию. В следующих годах (1591—1593) враждебные столкновения возобновились, но не имели решительного характера. В 1593 году последовало новое перемирие—на два года; а в 1593 году стороны пришли, наконец, и к мирному соглашению. Послы с'ехались под Иваньгородом в деревне Тявзине и начали свои переговоры обычными в те времена полемическими выходками, советуя друг другу оставить непригожие слова и «поискать в себе дороги к доброму делу». Такая дорога была найдена: русские отступились от притязаний на Нарву, а шведы перестали держаться за Корелу, и мир был заключен на том, что старые русские земли от р. Наровы до Корелы остались за Москвою. Есть основание думать, что эта вековая новгородская окраина представляла для шведов мало удобств: владение ею, правда, отрезывало Русь от моря, но обходилось шведам дорого: «неродивая» земля требовала подвоза хлеба и фуража, в которых в то время у самих шведов не было избытка. Трудности продовольственного характера были в том краю так велики, что шведы, в пору наибольшего своего торжества над Русью при Густаве Адольфе, легко отдали Москве Новгородские земли по Столбовскому договору 1617 г да, главным образом потому, что не имели сил организовать их питание. Тем более чувствовались эти трудности в

конце XVI столетия, когда голодала сама Швеция. Возвращая себе стародавние русские города на Финском побережье, Москва выговорила себе некоторую свободу сообщений через Шведские земли с Европою—для купцов, идущих с товарами на царское имя, для врачей и техников, едущих к царю, для царских послов. Но торговля в Нарве осталась исключительно в шведских руках. Москва была довольна «вечным миром» 1593 года потому, что сделала земельные приобретения—знак победы и военного торжества. Зависимость русского торга на Балтийском побережье от шведов не безпокоила Москвы, ибо торг на Белом море, в Архангельском городе, обезпечивал для нее свободу коммерческих сношений с Западом. От шведского контроля терпела более немецкая Ганза, чем Москва. Но и шведы были очень довольны «вечным миром»: «все ликовали, прекратилась 37 лет продолжавшаяся борьба», говорит Г. В. Форстен: «в церквах служили благодарственные молебны, пели Тебе Бога хвалим... все друг друга поздравляли с счастливым днем». Королевские послы, возвращавшиеся из Тявзина, были встречены в Ревеле с чрезвычайным торжеством. «Pro hoc summo beneficio Deo optimo maximo sit laus et gloria!» восклицал современник-швед.

В отношениях Москвы к Литве и Швеции личное участие Бориса вовсе не заметно; оно может быть ценимо лишь по связи с общей оценкой целесообразности и дальновидности московской политики. В сущности то же следует сказать и о сношениях с «цесарским» двором (так называли в Москве императорский двор Габсбургов). Из документов, сюда относящихся, возможно извлечь две-три мелких черты, характеризующих личное поведение Бориса в отношении «цесаря» и его послов, но и эти черты допускают различные толкования. Дипломатические сношения Москвы и Вены в конце XVI века вообще неопределенны и сложны; предметы сношений многообразны: мотивы и цели не всегда ясны. Повидимому, император Рудольф II был уверен в возможности династической унии с Москвою: в 1588 году он указывал своему послу Варкочу в официальной инструкции, что имеются сведения («uns von weitten angelangt hette»; «uns hatt sonnst weitleuffig vor diesen angelangt»), будто существует духовное завещание Грозного, но хранится в великой тайне; «в нем между прочим постановлено: буде ныне царствующий великий князь (Федор) умрет бездетным, то на наш достохвальный дом будет

обращено предпочтительное внимание, и кто либо из членов нашего дома должен быть избран государем». На каких основаниях выросли такие сведения и надежды, достоверно узнать нет возможности; но можно предполагать, что почва для них создалась в условиях польско-литовской «элекции». В избирательной кампании 1587—1588 гг. Москва готова была поддерживать эрцгерцога Максимилиана, брата Рудольфа, в том случае, если не будет избран сам царь Федор. Из Москвы извещали императора Рудольфа, что в этом именно смысле действовали в Варшаве московские послы: они там будто бы говорили, чтобы паны «обрали себе государем нас, великого государя, и были под нашею царскою рукою; ...а будет нас себе государем не оберут, и они бы обрали себе государем брата твоего, Максимилиана, арцыкнязя Аустрейского; ...а с невеликих бы станов, Свейского сына или которого иного Поморского княжати, на те великие государства не обирали, потому что те государи непристойные: о христьянстве не радеют, только всегды на кроворазлитье христьянское желают, а бесерменским государям в том радость чинят; а только будет брат твой Максимилиан на королевстве Польском и на великом княжестве Литовском, и нам то будет любо таково ж, что и мы будем на тех государствах». Это прямодушное заявление, сделанное в грамотах, сопровождалось, вероятно, столь же ласковыми—по наказам—речами гонцов, в которых могло быть говорено и больше, чем позволяли и требовали официальные наказы. В Вене могла созреть уверенность, что Москва, в виду бездетности Федора, питая мысль об унии, предпочтет в свое время Габсбургский дом «непристойным государям» «невеликих станов». Отсюда проистекало большое внимание Рудольфа и Максимилиана к Москве и частые дипломатические посылки в Москву. Но как произошло предание о тайном завещании Грозного, сказать ничего нельзя.

С своей стороны, московская дипломатия очень интересовалась цесарем,—и не только по делам Речи Посполитой, но и в отношении возможного союза против татар и турок. Обе стороны терпели от «бесермен» и искали наиболее надежных союзников и средств для борьбы с ними. Обе стороны могли предложить друг другу немного и вообще больше искали, чем давали. Поэтому в их сношениях было много чувства, комплиментов и обещаний, но мало реального дела. Оно выразилось только в том, что

Москва оказала материальную помощь цесарю, послав ему на большую сумму (44.000 р.) собольих мехов. Когда же цесарь спросил не мехов, а денег (1597 г.), то в Москве уклонились послать их, ибо, по выражению К. Н. Бестужева-Рюмина, «вообще были недовольны тем, что цесарь много говорил о своих союзах, а дела никакого не было видно». В сношениях с цесарем, титул которого поднимал его над всеми другими западными королями и «княжатами», Москва была особенно чутка к поддержанию соответствующего церемониала, чтобы этим подчеркнуть равенство «братьев дражайших и любительных»—московского царя и римского цесаря. И лично Борис, как правитель, особенно заботился о том, чтобы достойным образом самому выступить в роли первого в стране лица, как в царском дворце, так и на собственном боярском дворе, где он давал аудиенции послам. Одинаково и отчеты цесарских послов и такие же «статейные списки» московских дьяков рисуют пышные картины встреч и приемов у царя и у Бориса, но вовсе не обнаруживают реально-важных их последствий.

Иное дело—отношения с Англией: здесь пышности и парадов очень мало, но зато весь тон отношений очень деловит, и личное участие в них Бориса вполне ясно и понятно. Англия в Москве имела только торговые интересы, и Московия пока не занимала места в политической системе Англии. Очень известны обстоятельства появления английских мореходов в Двинском устье в XVI веке и получение ими монопольного права пользования этим устьем для торга с Москвою. Английские купцы и правительство имели в виду только этот торг и желали сделать его наиболее льготным и доходным для себя. В 1569 году английский посол Томас Рандольф добился у Грозного «привилегии», по которой образованная в Англии торговая «русская компания» получала исключительное право торга, и притом беспошлинного торга, во всем Московском государстве, а также право торговли через Россию с Востоком. Англичане были взяты в опричнину, что считалось и самими англичанами и Грозным за особенную честь и удобство для иноземцев. За столь многие льготы и почет Грозный требовал своего рода платы; он желал, чтобы королева Елизавета вступила с ним в союз против общих врагов, дала соответствующие льготы русским купцам и предоставила московскому царю право получить убежище в Англии в случае его личной невзгоды (такое же убежище

Грозный взаимно готов был предоставить и Елизавете). Когда же Елизавета, не видевшая нужды входить в такие обязательства и связывать Англию рискованными союзами, ответила уклончиво, Грозный раздражился, послал ей укорительную грамоту, а на английских купцов наложил свою опалу. Потом отношения сгладились, и царь в 1572 году, возвратив англичанам свою милость, восстановил их «привилегии и повольности»; однако же с тем, чтобы они платили с своих товаров половинные пошлины. Возвращение к льготам 1569 года оказалось неполным; а некоторые политические осложнения, последовавшие вскоре затем, лишили англичан и многих других преимуществ. Московское правительство очень дорожило английским торгом на севере; но оно столь же дорожило и другими возможностями сноситься с Западом и получать европейские товары. Пока Грозный владел Нарвою, он всячески поощрял торговлю в Нарвской гавани с торговыми людьми всяких народностей, кто бы туда ни проникал. Вопреки монопольному праву «русской компании» английских купцов, Грозный покровительствовал и другим англичанам. Компании он предоставил северный путь и закрепил за нею монополию в Двинском устье; а в Нарве он готов был дать права другим предпринимателям из той же Англии, хотя против этого компания протестовала с большой энергией. Конкурренция Нарвы пала только с переходом Нарвы в Шведские руки (1581), чем фактически восстанавливалась монополия северного пути и компании, обладавшей этим путем. Но одновременно с утратою Нарвы Москва испытала затруднение и на севере. Кроме англичан, торговавших на Двине, московский север в XVI веке посещали мореплаватели и других национальностей. Они не проникали в горловину Белого моря, а приставали на Мурманском берегу, там, где была «Кола волость» и «Кольское пристанище». Туда «приезжать почали ново Французские, Датцкие, Подолные земли (Нидерландов), Барабанские земли» корабельщики-купцы, и на Коле (приблизительно в 60-х годах XVI века) завязался торг, который мог создать конкурренцию англичанам, господствовавшим в Двинских устьях. Москва понимала всю важность Мурманского торга и готова была его поощрять. Но вмешательство датско-норвежского правительства испортило дело. Датчане считали норвежскою всю Лапландию, обвиняли русских в насилиях и захватах, сами

насильничали и мешали Кольскому торгу, «разбойным обычаем меж наше вотчины на море у Колы и у Колмогор разбили немец, которые к нам в наше государство ехали». Кольское «пристанище» утратило безопасность, и московское правительство склонилось к мысли перевести оттуда весь торг и всех торговых «немцев» на Двину, где было, конечно, безопаснее. Такое решение должно было уничтожить исключительные права англичан на Двинских пристанях независимо от того, благоволили к ним в Москве или же нет. Общие условия морского торга требовали этого, и Москва принялась устраивать (1583) город на Двине, у Архангельского монастыря, для корабельного пристанища. Здесь должен был образоваться общий для всех заморских «немцев» ярмарочный центр. Во время этих мероприятий скончался Грозный; с его смертью дело не остановилось, и царь Федор об'яснял датчанам (в 1586 г.), что «мы ныне торг изо всего Поморья, из своей вотчины Двинские земли и из Колы и из иных мест перевели и учинили в одном месте—на усть-Двины реки у нового города у Двинского, и торговым людям изо всех из ваших поморских государств со всякими товары к тому месту, к Двинскому городу, повелили всем ходити без вывета (без исключения)».

Англичане, принадлежавшие к «русской компании», по-видимому не были осведомлены о мотивах, руководивших московской властью. Им казалось, что со смертью Грозного иссяк для них источник милостей при Московском дворе. Бывший тогда в Москве английский посол сэр Еремей Боус очень рассердился на то, что тотчас же по смерти царя Ивана обращение с ним в Москве изменилось. Дьяк Андрей Щелкалов ядовито заметил Боусу, что «умер его английский царь», и затем Боуса заперли на его посольском дворе. Выражение об «английском» царе, конечно, было неуместно: оно намекало на то, что англичане, взятые в опричнину, были черезчур почтены и приближены Грозным и что этот их фавор должен был окончиться вместе с опричниной. Что же касается до заключения Боуса и его людей в стенах посольского подворья, то это была обычная мера московской предосторожности во время междоцарствия, направленная не только против англичан. Боусу не следовало сердиться, но он не сдержался и увидел во всем происходившем только злостные выходки лично против него самого. Он обвинял во всем «само-

званных царей» (как он выражался) Никиту Романовича и Андрея Щелкалова; а те в свою очередь рассердились на Боуса. Боус был отпущен из Москвы без особой чести и сам при этом оскорблял московское правительство грубыми выходками. Свидетель англичанин с горем восклицал, что «лучше бы Боус никогда сюда не приезжал!» В этом прискорбном недоразумении один Борис Годунов представлялся Боусу другом и покровителем: единственно он, «благородный и честный дворянин некто Борис Федорович Годунов», по словам Боуса, неизменно оказывал всякое уважение посланнику и «охотно сделал бы ему и более одолжений, но еще не имел власти». На прощанье Борис прислал Боусу подарок, парчу и соболей, и велел сказать ему, что желает дружбы и братства между их государями и самими ими. Таков был начальный момент отношений Бориса к англичанам. Борис сразу явил себя их другом в противоположность прочим властным вельможам. Такая дружелюбность оставалась у Бориса неизменной и в последующее время. Борис через своего агента, англичанина Горсея потушил неудовольствие, вызванное в Англии столкновениями Боуса, и наладил дальнейшие дружественные сношения. В 1586 году англичанам дана была «государева жалованная грамота» или «привилегия», которою восстановилось их право беспошлинного торга («только чюжих товаров им с собою в наши государства не имати и не продавати). Но Борис не изменил ничего в общем направлении московской торговой политики: торговая монополия и Белом море англичанам возвращена не была Беломорские «пристанища» были распределены между купцами разных наций, и все они могли непосредственно торговать с Москвою. Преимущество англичан ограничивалось только таможенными льготами. Грамота 1586 года была подтверждена в 1596 и 1598 годах на тех же самых основаниях, и таким образом англичане могли только вздыхать о первых благословенных годах их московских операций, когда Грозный утверждал за ними необыкновенные льготы. Не жертвуя интересами государства английским выгодам, Годунов однако очень ласкал англичан. Незнание русских обычаев и отношений вводило иногда английское правительство в напрасные «шибки». Елисавета, например, приняла московского гонца не во дворце, а в саду, который по-московски был назван «огородом»; она прислала царю Федору слишком ничтожные «поминки»;

она задержала долго в Англии и отпустила без личной аудиенции московского толмача «молодого паробка»,—все это вызывало выговоры и жалобы из Москвы, которая не пропускала ни одного подобного случая преподать Елисавете по своему разумению должные правила дипломатического такта. Плутовали английские купцы и приказчики в торговых сношениях, злоупотребляли кредитом, ссорились с москвичами и «тягались» между собою, а затем жаловались в Англию и просили там защиты и заступничества,—все это вызывало претензии и репрессии со стороны московской власти. Но Борис неизменно приводил все недоразумения к благополучной развязке и делал так, что государь оказывал разные милости англичанам, «любя тебя, сестру свою любительную (писал Борис Елисавете), а за моим челобитьем и печалованием». И надобно сказать, что англичане, вообще недовольные стойкостью русской администрации в борьбе за свободу московского торга с иноземцами, всегда признавали внимание и ласку к себе Бориса.

Нет надобности останавливаться на сношениях Москвы за время Бориса Годунова с прочими государствами Запада: они были случайны и отрывочны. Москва играла в них пассивную роль и, когда к ней обращались, искала обыкновенно или возможности приобрести новых союзников против своих исконных врагов, или же получить новых поставщиков или покупателей на своих рынках. Далее и выше этих целей московские дипломаты не смотрели. За то эти близкия цели они умели понимать и достигать с большою прямолинейностью и настойчивостью. Пережив ряд тяжких военных и дипломатических неудач, потеряв многолетние завоевания, ослабев от внутренних неурядиц, московское правительство не потеряло бодрости духа и воли. Оно оказалось готово на новую борьбу тотчас по окончании старой; оно зорко наблюдало и метко оценивало внутренние затруднения своих соседей и хорошо понимало, когда надо уступить и когда дозволительно ударить врага. Не умея превратить здорового инстинкта и острой сметки в норму и принцип, оно однако было устойчиво и последовательно в своих приемах и действиях и, благодаря свойственной ему подозрительной осторожности, не позволяло никому играть собой. Эти свойства—бодрость и активность, осторожность и наблюдательность, последовательность и самостоятельность—получали должное при-

знание со стороны: Москву бранили и над нею иногда смеялись, но с нею должны были считаться. Руководитель московской политики Борис мог хвалиться тем, что заставил соседей признать возрождение политической силы Москвы после понесенных ею поражений.

III.

В отношении тюрко-татарских народов политика Бориса Годунова была прямым продолжением политики Грозного. Судьба поставила русское племя в тесное прикосновение со всеми группами татарских племен. В отношениях Москвы к европейской группе татар во времена царей Федора и Бориса исходной точкой служило завоевание Москвою Казани и Астрахани. Выйдя Волгою на Каспийское побережье и освоив среднее и нижнее Поволжье, Москва окончательно ликвидировала татарскую власть в этих местностях, создав из Астрахани угрозу и татарским народам кавказской группы. К такому политическому успеху Москвы турецко-татарский мир не мог отнестись безучастно и спокойно. Грозному пред'являли разного рода претензии и требования как турецкий султан, так и крымский хан. Москве грозили войною и возмездием. Турки собирались от Азова по Дону добраться до «переволоки» на Волгу (у нынешнего Царицына) и идти отбирать Астрахань; однако эта сложная затея им не удалась. Татары из Крыма грозили самой Москве и в 1570-х годах сделали несколько попыток до нее добраться. Однажды только (в 1571 году) им удалось подойти к стенам русской столицы, пожечь посады и побить много народа. Москва «наполнися сеченых во всех улицах от конца до конца», по выражению Палицына; но московские цитадели не были взяты, и татары ушли. Это был при Грозном самый страшный набег; остальные не проникали далеко от южных границ вглубь государства. Умудренная горьким опытом, Москва усиленно укрепляла свои южные рубежи и заселяла «дикое поле» на южных окраинах. В своем месте мы расскажем, насколько планомерна и действительна была эта работа по укреплению и заселению юга. Она привела к тому, что татарские набеги на самую Москву стали неисполнимы. В последний раз крымцы пробрались было к Москве в 1591 году, но тотчас же и убежали назад с большим срамом. Под стенами Москвы

встретила их в боевом порядке целая армия, стоявшая в подвижном полевом укреплении, «гуляй-городе». Она не допустила татар к стенам города и грозила им сама нападением. Хан оставался под Москвою менее суток и «побежал», никуда не уклоняясь для добычи, прямо домой: «которою дорогою пришел, тою же дорогою и назад вышел». Русские преследовали татар; вернулась их в Крым лишь третья часть, и сам хан приехал в Бахчи-Сарай бесславно—ночью в телеге раненый: видели, что левая рука у него была подвязана. Отражение хана от Москвы было обращено Годуновым в большую победу. Сам Борис, державший начальство над войском вместе с кн. Ф. И. Мстиславским, получил чрезвычайную награду (между прочим города в Важской земле и звание «слуги», которое почиталось «честнее боярского»). Щедро награждены были и другие воеводы. На месте «гуляй-города» был основан так называемый «Донской» монастырь. Хотя на следующий год (1592) татары жестоко разорили Рязанские и Тульские места, однако общий характер отношений к Крыму определился в пользу Москвы. В Москве не было страха перед Крымом, и московское правительство, не озираясь на Крым, свободно действовало против других татар. Так ногаи были приведены в подчинение Москве и сами сознавались, что уже «учинились в воле государя московского: чья будет Астрахань, Волга и Яик (говорили они), того будет и вся Ногайская орда». Также решительно отваживалась Москва наступать и на татар кавказской группы, хотя здесь, на первых порах ожидала ее чувствительная неудача.

Выход на Каспийское море открыл для Московского государства возможность непосредственных сношений с Кавказским и Персидским побережьем и с среднеазиатскими ханствами. В самую пору завоевания Казани и Астрахани, в 50-х годах XVI века, начались операции московских ратей на северном Кавказе. Кабардинцы тогда уже вошли в зависимость от московского государя; Грузия тогда уже обращалась за помощью к Москве. В 1567 году русские поставили на р. Тереке город—Терский острог; он должен был служить базою для действий в Кабарде в помощь князю Кабардинскому Темгрюку (на дочери которого женился Грозный). Город не устоял, был брошен, снова появился в 1578 году и снова не устоял: «царь для брата своего Селим-салтановой (Турецкого) любви тот город

велел отставить и воеводу и людей своих оттуда велел отвести». Турки ревниво оберегали сферу своего влияния на Кавказе и не только требовали удаления с Терека государевых людей, но жаловались московскому царю и на вольных московских казаков, которые «гуляли» и «воровали» на Тереке. Казаки были там в значительном числе и досаждали всем местным владетельным князькам своими разбоями и насилиями. Но они же служили при случае и великому государю московскому и его союзникам, Грузинским владетелям; например, они «стояли у Александра царя (Кахетинского) летом по щелям в горах от Шевкала Дагестанского) на сторожах». Поэтому Москва в отношении казаков держалась здесь обычной своей манеры: она их бранила и обзывала «ворами» в дипломатических сношениях с турками и с Кавказскими князьками, но не «унимала» на деле и готова была пользоваться ими для своих целей колонизации и завоеваний. Переговорами о Терском городе и о Терских казаках и начал Борис сношения своего правительства с Кавказом и турками, «чтоб на Терке казаки не жили», «чтоб ни один казак на Терке и на Дону у Азова не был» и чтобы государь «город на Терке велел разметати и воевод и людей своих с Терки всех свести велел». Московские послы все это обещали, а московская власть ничего исполнять не намеревалась. Напротив, московское правительство крепило свои связи с христианским Закавказьем и подумывало встать твердою ногою в Грузии, где боролись влияние московское, турецкое и персидское. Повидимому Борис рассчитывал воспользоваться борьбою за Персию турок и персиян и, помогая последним, сначала ослабить турок, а затем справиться и с персиянами. Вмешательство Москвы в Кавказские дела формально оправдывалось тем, что православная Грузия искала защиты у Москвы против своих врагов. В 1586 году Кахетинский «князь» или «царь» Александр прислал в Москву сказать, что он «сам своею головою и со всею своею землею под кров царствия и под царскую руку рад поддается»; а из Москвы ему ответили, что царь Федор Александра князя «под свою царскую руку и в оборонь хочет взять». С тех пор открытою заботою московского правительства стало обеспечение и укрепление пути из Астрахани в Грузию. На Тереке, кроме старого городка «на устье Сунчи-реки» построили новый город «на устье Терском». Гарнизон этого города должен был

стеречь дорогу из Руси в Закавказье, а кроме того не «перепускать» турок через Терек на персиян. Завязавшиеся с Грузией сношения показали, что ближайшим врагом для союзных Москвы и Грузии были не столько сами турки, сколько местный мусульманский владетель «Шевкал» или «Шамхал» Тарковский, владения которого в Дагестане закрывали дорогу в Грузию из Астрахани. Против него Борис дважды снаряжал войско. В 1593 году воевода князь Андрей Ив. Хворостинин был отправлен для того, чтобы в «Шевкальской земле» построить два города и укрепиться в них. Первый город, на р. Койсу, поставить удалось, а второй (южнее—в Тарках) «поставить не дали»: русское войско было разбито и оставило на поле битвы до 3.000 человек; «сами же воеводы с оставшими людьми утекоша». В 1604 году попытка утвердиться в земле Шевкала была повторена, но окончилась еще печальнее. Воевода Ив. Мих. Бутурлин завоевал г. Тарки и остался в нем, но весною 1605 года турецкие войска вместе с Шевкалом осадили его там. Бутурлин капитулировал на условии свободного возвращения на Русь. Условие однако не было соблюдено: вся русская рать была избита, когда вышла из крепости. Погибло более 7.000 человек и в числе их сам Бутурлин. Наступившее за тем в Московском государстве междоусобие на время прекратило сношения с Кавказом: и на Тереке и в Астрахани «от воров от казаков стала смута великая» и Москва утратила своих друзей на северном Кавказе.

В отношении татар сибирской группы правительству Бориса Годунова пришлось заново начинать дело покорения, заглохшее со смертью знаменитого «велеумного атамана» Ермака. После гибели Ермака Сибирское царство, захваченное им, вернуло свою независимость: в августе 1584 года русские покинули город Сибирь, и в нем снова сели ханы. Казалось, Сибирская авантюра казаков прошла без следа. Но московское правительство решило не упускать из своих рук Сибирской земли. В том же 1584 году оно представляло дело цесарю так, что де «сидят в Сибири государевы люди, и Сибирская земля вся, и Югра, и Кондинский князь, и Пелымской князь, вогуличи и остяки, и по Оби по великой реке все люди государю добили челом и дань давать почали... соболи и черные лисицы». Когда в Москве узнали об оставлении Сибири, ее решено было возвратить: в начале 1586 года туда была послана рать. По московскому обычаю, страну освоивали посредством, «городов», то есть

крепостей. Придя на место к лету 1586 года, воеводы начали ставить города: на реке Туре—город Тюмень, на реке Иртыше—Тобольск. Тобольск находился вблизи г. Сибири; оттуда воеводы «добыли» Сибирь, захватили хана Сейдяка и его город запустошили (1588). С тех пор «старейшина бысть сей град Тоболеск (говорит летописец), понеже бо ту победа и одоление на окаянных бусормен бысть, паче же и вместо царствующего града причтен Сибири». Кругом этого «стольного града» Тобольска шла некоторое время борьба с татарами, мечтавшими прогнать русских назад; но эта борьба скоро показала, что перевес сил окончательно перешел на русскую сторону. Русские города росли почти ежегодно. На путях в Сибирское царство и на важных стратегически пунктах стали Пелым (1593), Нарымский острог (1596), Кетский острог (1596), Верхотурье (1598), Туринский острог (1600), Томск (1604). На севере от главного пути колонизации Сибирской тогда же возникли города: Березов (1593), Обдорск (1593) и Мангазея (1601). Свою новую колонию, царство Сибирское, Москва оберегала от чужой эксплуатации. Когда англичане просили о разрешении ездить морем в Печору и Обь (1584), московское правительство ответило им, что «пристаниш морских в тех местах нет и приставать тут не пригодится; а лише в тех местах ведутся соболи да кречеты,—и только такие дорогие товары, соболи и кречеты, пойдут в Аглинскую же землю, и нашему государству как без того быть?» В этом риторическом вопросе лучшее об'яснение того, что ценила и чего искала Москва в Сибири.

IV.

Совсем особняком стоял в политике Бориса вопрос об отношениях к православному Востоку. Московское правительство твердо держалось «главной мысли того века, что Русское царство, единственное независимое православное царство, должно заменить собою погибшую Византийскую империю» (слова К. Н. Бестужева-Рюмина). Представляя собою «новый Израиль», в среде которого сохранилась правая вера и истинное благочестие, московская светская власть в сношениях с православными церквами Востока обычно действовала и за себя, и за московскую церковь с ее иерархией. Царь, а не митрополит московский, писал грамоты восточным патриархам; царь разрешал представи-

телям восточно-греческого духовенства в'езд в его государство и в столицу; царь благотворил греческим церквам и духовенству; царь предстательствовал за них пред «агарянскими», то есть турецкими властями. Вступая на московскую почву, греки сразу же испытывали на себе полноту власти московского монарха решительно во всех делах, какие бы их в Москве ни интересовали. Поэтому они привыкли взирать на его царское величество, как на единственный источник благ и милостей, и обещали ему молиться Богу денно и нощно, «чтобы он совершал всякое благо и чрезмерные благодеяния ежеденно, ибо имеет к тому готовность». Внутреннее состояние московской церкви, ее отношение к светской власти и степень ее независимости и самостоятельности оставались для греков неясными, так как им не было ни возможности, ни необходимости вникать в эту сторону московской жизни. Официальные встречи с московскими иерархами исчерпывали весь круг необходимого общения с местным церковным миром, а затем пред греками везде появлялся государев дьяк или иной служилый человек, действовавший именем великого государя.

Именно в такой бытовой обстановке был поднят, обсужден и разрешен вопрос об установлении в Москве патриаршества. Чисто церковный, казалось бы, и канонический, он получил характер государственного и политического вопроса по преимуществу и были современниками истолкован, как первый крупный политический успех самого Бориса: «устроение се бысть начало гордыни его», заметил Иван Тимофеев по этому поводу о Борисе Годунове. Руководящая роль светских властей в деле о патриаршестве заставила некоторых историков даже вовсе упустить из вида церковно-историческое значение события. Так Н. И. Костомаров решился сказать, что «Борис в делах внутреннего строения имел в виду свои личные расчеты и всегда делал то, что могло придать его управлению значение и блеск; такой смысл имело преобразование, совершенное им в порядке церковной иерархии: Борис задумал учредить в Московском государстве патриархию». И некоторые другие историки (даже Карамзин) склонны были деятельное участие Годунова в деле учреждения патриаршества толковать, как его своекорыстный умысел, направленный в целях личной политической карьеры. Конечно, такое понимание дела неприемлемо для серьезнаго исследователя,

знакомаго с основными течениями московской общественной мысли XVI столетия. Не один Борис, а все вершины московского общества мечтали об установлении в Москве патриаршего сана. К этому вел идеал единого православного христианского царства, который был создан в Византии и требовал, чтобы честь царская и патриаршая стояли вместе и неразлучно, помогая одна другой. Перенесенный на Русь, этот идеал здесь не осуществился сразу: созданная им при Грозном царская власть не восприняла своего венчания от лица патриарха, но по теории должна была воспринять, а потому и желала патриарха на Руси. Ей, царской власти, поэтому принадлежал и почин в данном деле и ведение самого дела. Новейший исследователь вопроса об учреждении патриаршества в Москве, проф. А. Я. Шпаков, отметил очень резкими штрихами преобладание органов светской власти в сношениях о патриаршестве с греческим духовенством, хотя он и далек был от мысли отрицать национальное и церковное значение самого дела установления патриаршества. Борис в переговорах с греческими иерархами являлся ловким и удачливым представителем московского правительства, но действовал он отнюдь не за себя, а за все московское царство и за весь народ «нового Израиля».

Желание иметь около себя патриарха было царем Федором наследовано от его отца. Уже при Грозном созрела мысль, что, раз московский государь заступил для всего «православия» место греческого царя, он должен был иметь при себе и патриарха, как имел его византийский император. По словам проф. Шпакова, «цветущее состояние и высокое положение нашей церкви, ее отношения к константинопольскому патриарху—делали учреждение патриаршества неизбежным». Оставалось только найти повод к возбуждению дела. Такой повод представился в 1586 году, когда в Москву явился антиохийский патриарх Иоаким. Это был первый приезд в Москву восточного патриарха: до тех пор в Москве бывали греческие иерархи низших степеней. В Москве греки искали субсидий (или, как тогда выражались, «милостыни»), а также заступничества пред турецкими властями. Искал того же и патриарх. Высокого гостя приняли в Москве торжественно: почтили его «встречами», удовольствили дарами и дали неделю отдохнуть от далекого пути на «подворье» (во дворе Ф. И. Шереметева); там однако его, по обычаю,

окружили «приставами» и разобщили со всем живым миром. Царь принял патриарха с пышным церемониалом, причем в Кремль гостя привезли, несмотря на летнее время (25 июня), в парадных митрополичьих санях, самым торжественным «чином». После царского приема последовала встреча патриарха в Успенском соборе с московским митрополитом Дионисием, причем патриарху пришлось пережить неприятную минуту. Вопреки формам отношений, принятым на Востоке, митрополит, ступив на встречу гостю, носившему высший сан, благословил его первый, не выждав патриаршего благословения. Патриарх запротестовал и, по выражению официальной московской записи, «поговорил слегка, что пригожее было бы от него митрополиту принять благословение прежде, да и перестал о том». Смиренный проситель не посмел много учить своих милостивцев и принял ту роль, какую ему дали его покровители. Зато он скоро был удовлетворен царскою милостыней и ласково отпущен домой. Не сохранилось точных официальных свидетельств о тех переговорах, какие велись с Иоакимом на счет установления патриаршества в Москве. В позднейших своих записях и речах московские чиновники разноречиво вспоминали то, что было делано и говорено по данному делу. Царь Федор будто бы тайно помыслил о патриаршеском поставлении на Москве со своею супругою и ближними боярами и об'явил свою мысль патриарху Иоакиму через Бориса; а патриарх с своей стороны «рекся (то-есть, обещал) о том посоветовати со всеми патриархи и с архиепископы и с епископы, со всем освященным собором». Что именно было условлено между Борисом и патриархом, точно, по отсутствию данных, сказать нельзя. Но Иоаким, если и обещал что-нибудь Борису, не исполнил ничего из того, на что надеялись в Москве. В Москве же повидимому питали твердую надежду, что дело о патриаршестве через Иоакима получит ход на Востоке, и потому отправили туда, к патриархам, вместе с Иоакимом своего московского гонца, чтобы он тайно просил патриархов установить патриархию на Москве. Ответа однако не последовало, ибо на Востоке вовсе не желали исполнить желание московского государя.

Но милостыню московскую там получать желали, ибо в ней очень нуждались. А потому (быть может, и не без связи с делом о патриаршестве) в 1588 году внезапно появился на Руси константинопольский патриарх Иеремия.

В Москве ожидали с Востока патриарших грамот и послов, а прибыл лично патриарх, и притом не из младших, а первенствующий на Востоке патриарх цареградский. Московские политики, конечно, помнили, что в 1561 году, когда цареградский «вселенский» патриарх утверждал царский титул за великим князем московским, он написал в своей грамоте, что венчание на царство царей есть исключительное право только двух патриархов православных: римского и константинопольского (а за отпадением первого, это право принадлежит одному только константинопольскому). И вот теперь этот особо правомочный святитель идет сам в Москву. Естественно было предположить, что столь редкое, можно сказать, небывалое происшествие знаменует собою новый фазис дела о московском патриаршестве. Вселенский патриарх в Москве, думалось, установит патриархат скорее, чем кто-либо иной. Отправляя своих людей навстречу патриарху Иеремии, царь приказывал прежде всего разведать у патриарха и у его свиты: «каким он обычаем идет ко государю и с чем идет?» «со всех ли приговору патриархов поехал и ото всех ли с ним патриархов к государю есть какой приказ?» Пытаясь проведать цель поездки патриарха, пытались установить и законность самого Иеремии и узнать, истинный ли он патриарх и «Феолиптос, которой преж тово (Иеремии) был патриарх, куды ныне пошел, и вперед ему-ли, Иеремею, быти в патриархех, как он назад приедет во Царьгород, или Феолиптосу?» В Москве догадывались, что предшественник Иеремии Феолипт не умирал, а куда то «сшел», и желали установить, что с ним сталось (он был низложен султаном) и крепко ли сел на его место Иеремия. Таким образом, волнуясь приездом необходимого и важного гостя и ожидая от него существенных благ, Москва торопилась выяснить, насколько можно ему верить. Повидимому результаты разведок получились удовлетворительные, и в Москве Иеремию приняли, как подлинного вселенского патриарха, с большим почетом. Но ожидания не исполнились и надежды не сбылись. Оказалось, что Иеремия не привез с собою решения по вопросу о патриаршестве, а только просил «милостыни» и сообщал политические вести с Востока и из Литвы, через которую проехал.

Тогда в Москве созрел план, исполнителем которого, если не творцом, был Борис Годунов. План состоял в том, чтобы не выпустить Иеремии из Москвы без того или

иного решения дела об учреждении патриаршества в Москве. Патриарха вселенского решили склонить или единолично поставить патриарха на Руси, или же дать обязательство провести это дело на вселенском соборе, который будет созван по его возвращении на родину. Иеремию окружили ловкими агентами-приставами: умело ему льстя, они подготовляли его к податливости и соглашению. Сам же Борис зачастил к патриарху на подворье для тайных бесед, как только там обозначились первые признаки податливости. Спутники Иеремии, греки составлявшие его свиту, с огорчением отмечали, будто «такой патриарх имел нрав, что никогда не слушал ни от кого совета, даже от преданных ему людей, почему и сам терпел много, и церковь в его дни». Зарвавшись в беседах с хитрыми москвичами, Иеремия сказал лишнее слово. Он понимал твердо, что единолично не может создать московский патриархат; но, желая угодить Москве, а самому тепло устроиться, он думал разрешить задачу тем, чтобы самому остаться в Москве в сане патриарха. «Если хотят, то я останус здесь патриархом», заметил он одному из греков, своих спутников, митрополиту Иерофею. Иерофей резко возразил, говоря, что это невозможно: «ты не знаешь обычаев этой страны, здесь иные порядки, иные нравы; русские не хотят тебя иметь своим патриархом; смотри, чтобы тебе не осрамиться». Но патриарх остался глух к возражениям и предостережениям: он высказал ту же готовность остаться и в разговоре с московскими приставами—и на этом был уловлен. По словам проф. Шпакова, «с момента произнесения им: остаюсь—переговоры быстро двинулись вперед, и в русских памятниках мы уже находим официальное их описание». Борис Годунов получил царское приказание с патриархом «посоветовати, возможно ли тому сстатися, чтобы ему быти в его государстве, Росийском царстве,—в стольнейшем граде Володимире». Получив в общих выражениях согласие Иеремии, хитро пожелали, чтобы он согласился жить не в Москве, а во Владимире. Захудалый Владимир испугал Иеремию. Он имел в виду стольную Москву, блестящий дворец московского царя и пышный «чин» Кремлевского митрополичьего (в будущем—патриаршего) двора; а ему предлагали городок с тремя или четырьмя сотнями дворов на посаде и с обваленною и запустошенною крепостью на высоких берегах тихой Клязьмы. О Владимире один из спутников Иеремии выра-

зился, что он — «хуже Кукуза», армянского городка, где был заточен Иоанн Златоуст. Понятно, что патриарх отказался; «чтобы мне быти в его государеве государстве», ответил он Борису: «и яз от того не отмещуся; только мне в Володимере быти не возможно, занеже патриархи бывают при государе всегда; а то что за патриаршество, что жити не при государе? тому сстаться никак невозможно!» В Москве тоже понимали, что патриархи всегда бывают при государях, и если прочили Иеремию во Владимир, то лишь затем, чтобы сбыть его и вовсе с рук. Грек, не разумевший по-русски, пришедший в Москву не зван, а сам собою, при другом живом цареградском патриархе Феолипте, судьба которого была неведома,— такой грек не представлял для Москвы особой прелести. Он сделал то, что от него требовалось: дал принципиальное согласие на установление в Москве патриаршества,— и он мог уйти. Борис хитро довел его до отказа поселиться во Владимире и повел дело далее. Царь Федор на соборе гласно выразил сожаление что, Иеремия отказался от Владимира и пожелал Москвы. «И то дело не сстаточное!» говорил царь; «как нам то учинити, что... преосвященного Иева митрополита всея великия Росии от Пречистыя Богородицы и от великих чюдотворцев (из Москвы) изженути, а учинитигреческого закона патриархе? а он здешнего обычая и русского языка не знает и ни о которых делах духовных нам с ним говорити без толмача не уметь». Вывод отсюда следовал один: «посоветовати» с патриархом, чтобы он поставил на Москву патриархом Иова митрополита. Борис Годунов и посольский дьяк Андрей Щелкалов «посоветовали» с Иеремией о том столь настоятельно, что грекам «совет» показался требованием Патриарх, опрометчиво признавший возможность существования в Москве патриарха-грека, нехотя дал согласие на поставление патриарха туземца и стал просить отпуска домой. Оставалось церемониальная часть дела. Иеремия указывал на необходимость избрания патриарха собором; церковный собор был созван в январе 1589 года и состоял из высших иерархов русской церкви. Только теперь, полгода спустя после прибытия Иеремии на Русь, московское духовенство приобщалось к делу установления на Руси патриаршества и вступало в сношение с приезжими греческими иерархами. По указанию царя

собор избрал по три кандидата на патриаршество и на две вновь учрежденные митрополии—новгородскую и ростовскую. Царь из трех кандидатов в патриархи выбрал, разумеется, Иова. От Иеремии спросили греческий чин поставления в патриархи и его изменили, сделав более торжественным. Затем начались торжества наречения и поставления новых иерархов с участием Иеремии и его свиты. 26-го января 1589 года Москва, наконец, получила патриарха: Иов был торжественно посвящен в этот сан в Успенском соборе.

Дело было сделано; оставалось его письменно оформить. Иеремию удержали в Москве до тех пор, пока не изготовили торжественную грамоту об учреждении патриаршества в Москве. Патриарх вселенский подписал эту грамоту вместе с русскими иерархами и с тремя лицами его собственной свиты (греческим митрополитом, архиепископом и архимандритом). Затем греки были отпущены милостиво домой (в мае 1589 г.) с обязательством оформить на соборе восточных церквей совершенное ими в Москве дело. До Константинополя Иеремия добрался только через год (весною 1590 г.) и созвал немедленно собор высших восточных иерархов. Собор вошел в суждение о правильности того, что было содеяно Иеремией в Москве, и, конечно, не все признал канонически правильным; однако патриархат московский был собором признан и московскому патриарху было определено пятое место среди патриархов православных, о чем и послали соборную грамоту в Москву. В Москве же обиделись: там желали своему патриарху по меньшей мере третьего места, ибо Москва стала третьим «царством» после Рима старого и Рима нового (или Византии). Восток не уступил. На втором соборе, бывшем в начале 1593 года, в Царьграде в присутствии московского посланника дьяка Григория Афанасьева, вопрос о московском патриаршестве был пересмотрен, и дело было оставлено в прежнем положении, главным образом под влиянием ученого александрийского патриарха Мелетия Пигаса. Но и Москва упорствовала: там положили в пренебрежение собор 1593 года и упорно продолжали считать своего патриарха третьим—ниже константинопольского и александрийского и выше антиохийского и иерусалимского. Успех свой Москва чрезвычайно ценила и светло праздновала, между прочим тем, что иерархически повышала многие свои епископские кафедры: к двум митрополиям

(новгородской и ростовской) прибавлено было еще две (казанская и крутицкая; последняя—в самой Москве—«на Крутицах»); установлено шесть архиепископий и устроено шесть новых епископий. Так росла московская иерархия. Наблюдавший критически московские церковные события митрополит Иерофей, ученый грек, все их приписал энергии и способностям Бориса Годунова. «Царь Федор», писал он: «был человек смирный, по всему подобный младшему (или «малому» императору) Феодосию, простой, тихий; а шурин царя, по имени Борис, был ко всему способен, умен, лукав: он всем заведовал, и его все слушались».

V.

Общий голос современников приписывал Борису руководство московской политикой; ему же на счет должны быть поставлены и результаты этой политики. По обстоятельствам данного времени, цель московского правительства заключалась в том, чтобы смягчить тяжелые последствия войны Грозного, заставить забыть понесенные Москвою поражения и неудачи и восстановить утраченное ею международное положение. Борису удалось сделать много на этом пути возрождения политической силы Москвы. Намеченная Баторием жертва ускользнула из сетей католической политики и, вместо дальнейшего подчинения ей, стала сама грозить Речи Посполитой активным выступлением против нее. Пользуясь слабостью нового монарха Речи Посполитой и внутренним расстройством Швеции, Москва напала на Швецию открыто и оружием вернула уступленные ей Грозным земли. В заботах об улучшении своей торговли, Москва провела ряд мер на северном побережье, направленных на организацию в ее пользу зародившегося там товарообмена, и уничтожила исключительные льготы, данные Грозным английской торговой компании. На востоке и юге Москва продолжала развивать достигнутые ею с покорением Казани и Астрахани военные и колонизационные успехи. Движение в Сибирь и на Северный Кавказ было именно следствием этих успехов. Дело не обходилось без неприятностей и потерь, но от частных неудач не останавливалось общее движение вперед и не умалялись добытые результаты. Москва не обнаруживала страха пред Турцией и Крымом, тянулась к Грузии,

покоряла ногайцев и сибирских татар. Она оказывала помощь и поддержку подвластной султану греческой иерархии и от последней требовала признания своего духовного главенства, открыто об'являя себя наследницей греческого царства и притязая на установление в Москве патриархата. Во всех проявлениях московской политической жизни, во всех сношениях с Европою и Востоком чувствуется при Борисе под'ем правительственной энергии и возрождение политической силы. Можно сказать, что Борис достиг своих целей и заставил соседей считаться с Москвою так же, как они считались с нею в лучшие времена Ивана Грозного.

Внешнюю политику Бориса Годунова можно поэтому назвать успешной. Не то придется сказать о политике внутренней: как ни велик был правительственный талант Бориса, он не спас его от крушения. Сложность внутреннего кризиса, в котором пришлось действовать Борису, была неодолима для политика в действии так же, как может она оказаться неодолимой и для историка в изложении.

VI.

Московская общественная жизнь в исходе XVI века была в корне потрясена кризисом времени Грозного. Некоторые стороны этого кризиса нам уже известны. Система террора, направленного Грозным на родовую знать, «княжат», разбила не их только, но и весь вообще общественный строй центральных московских областей. Не одни княжата были сорваны опричниной с их старой оседлости и развеяны по окраинам государства; сдвинута была вся народная масса, имевшая связи с землевладельческим классом княжеской и боярской опальной знати. Исчезал с места господин—«государь-князь» или «государь-боярин», как тогда выражались,—и с ним исчезал его «двор», то-есть его «послужильцы», его «слуги», «люди», «холопы», словом весь тот круг лиц, с которым господин служил, властвовал и хозяйничал в своей вотчине. В лучшем случае слуги шли за господином на его новоселье; в худшем они или гибли со своим господином или же освобождались от службы ему и осуждались на бродяжничество. По московскому обычаю, при государевой опале, постигавшей господина, конфисковали не только его имущество,

но и его документы—«грамоты и крепости». Действие этих крепостей прекращалось, обязательства теряли силу, и крепостные люди, «опальных бояр слуги», получали свободу, иногда с запрещением поступать в какой-либо иной двор. Этим они обрекались на голод и обычно уходили из государства на южную украйну, где к концу XVI века образовалось уже большое «собрание злодеев», по выражению яркого писателя того времени Авраамия Палицына. Далее, с разрушением большого боярского или княжеского двора разрушалось и его вотчинное хозяйство. Княжеская или боярская вотчина, взятая в опричнину, обычно шла по частям в поместную раздачу, дробилась на мелкие доли и поступала во владение мелкопоместного служилого люда, за которым крестьянину было жить тяжелее, чем за боярином или князем. У последних крестьяне крупных вотчин пользовались выгодами общинного устройства и самоуправления, сравнительным экономическим благополучием и юридическою защитою влиятельного хозяина. Мелкие помещики такой защиты дать не могли по своему социальному ничтожеству; по своей необеспеченности они жали крестьян больше богатых владельцев; а крестьянское самоуправление было немыслимо в поместье с 5—10—15 крестьянскими дворами, которые все непосредственно ведались владельцем. Сам помещик, а не выборный крестьянский «староста», собирал с крестьян государевы подати и свои частные оброки; переводя на себя функции выборных властей крестьянского «мира», он естественно обращал их в одно из средств укрепления крестьян за собою. Понятно, что такая перемена рассматривалась крестьянством, как потеря гражданской самостоятельности, как «крепость» и «неволя», с которой им мириться было невозможно. Разоренный и обездоленный крестьянин «не мога терпети» покушался на уход—законный или незаконный—со старого постылого «печища» на новые более счастливые места. То же чувство и та же готовность на уход должны были владеть крестьянами и казенных «государевых» волостей, «дворцовых» и «черных», которые прямо из-за государя поступали в поместную раздачу. Поместье с его тяжкою зависимостью мужика от помещика и здесь одинаково гнало рабочее население прочь из крепостного ярма в условия привычной и законом не уничтоженной гражданской самостоятельности.

Так обозначилось одно из последствий пересмотра землевладения в опричнине и соединенной с этим пересмотром

массовой раздачи поместий в центральных областях государства. Обозначился повсеместный «выход» крестьян и крепостного люда, холопов, из государственного центра. Правительство заметило этот выход в 1570-х годах и думало об'яснить его «моровым поветрием», «хлебным недородом», «татарским разореньем», «опричнинским правежом». Но все это были частные причины; главная причина крылась в том, что рабочее население теряло свою личную свободу и с нею прежнюю возможность пользоваться и распоряжаться землею, на которой оно сидело и трудилось. Условия времени очень помогали действию этой причины. Московская власть деятельно закрепляла за собою завоевания Грозного. На завоеванных пространствах бывшего Казанского царства ставились города с людными гарнизонами и водворялись служилые землевладельцы, а с ними вместе на новых землях, государевым жалованием, возникали и монастырские вотчины. Это землевладение нуждалось в крестьянском труде, как новые города нуждались в военном и торгово-промышленном люде. Выходя из своих старых гнезд, с верхней Волги и с верхней Оки, крестьяне и холопы знали, куда им можно идти. Само правительство звало этих «верховых сходцев» для заселения новых городов и пограничной укрепленной «черты» в Понизовье (на Волге) и на «диком поле» (на юг от средней Оки в черноземном пространстве). Новые места манили к себе переселенцев своим простором, прелестью климата, богатствами почвы, лесов и рек. Выходило так, что власть одними мерами как бы выталкивала народ из внутренних областей государства, а другими—привлекала его на окраины, обаятельные для поселенцев и безо всяких казенных приглашений. Попадая в новые условия жизни, эти поселенцы не всегда задерживались в городах и у землевладельцев, а шли дальше за «черту» искать «новых земниц» в «диком поле» и там «казаковали» на полном просторе за пределами государственного достижения. Вольная колонизация опережала правительственную; она создавала за пределами государства, но в его соседстве, опасную для государственного порядка казачью вольницу. Современник (Авраамий Палицын) неодобрительно говорил, что Грозный и его ученик Борис поощряли эту вольную колонизацию юга. «Последова же царь Борис в неких нравех царю Ивану Васильевичу (писал Палицын) ежебы наполнити на краи предел землы своея воинственым чином, дабы против сопостат крепц и

были украинные грады... и гад кто злодействующий осужен будет к смерти и аще убежит в те грады,.. то тамо да избудет смерти своея». По словам Палицына, этих «злодействующих гадов» царь Иван держал в страхе «разумом и жестостью», а царь Федор «молитвою»; при Борисе же эти «змии» задвигались против государства, и скопилось на украйнах «боле двадесят тысяч сицевых воров». Возникла прямая опасность государственных осложнений от выселения обездоленного и недовольного рабочего люда, нашедшего себе некоторую организацию вне государства.

Выход трудовой крестьянской и холопьей массы с ее прежних мест сопровождался важными последствиями не только на окраинах, куда эта масса шла, но и в центрах, откуда она выходила. В центрах создался острый хозяйственный кризис, вызванный недостатком рабочих рук, и возникла ожесточенная борьба за рабочие руки. Выход крестьян влек за собою хозяйственную «пустоту». Писцовые книги XVI века отмечали очень много «пустошей», вотчин пустых и поросших лесом; сел, брошенных населением, с церквами «без пенья»; порожих земель, брошенных «за пустом» без пашни. Местами была еще жива память об ушедших хозяевах, и пустоши еще хранили на себе их имена, а местами и хозяева уже забыты и «имян их сыскати некем». Хозяйства мелких служилых людей от «пустоты» обычно погибали вовсе: малопоместному человеку не с чего было явиться на службу и «вперед было собратися нечем»; он сам шел «бродить меж двор», то есть побираться, бросая опустелое хозяйство на произвол судьбы. Крупные же землевладельцы — служилые и церковные — имели большую экономическую устойчивость. Льготы, которыми они обыкновенно обладали в отношении податном и правовом, манили на их земли трудовое население, ибо и ему сообщали известные выгоды. Затем, возможность сохранить «мирское» устройство и самоуправление в большой вотчине привязывала крестьян к крупным земельным хозяйствам. Наконец, и выход крестьянина от крупного владельца был не так легок; администрация больших вотчин в борьбе за крестьян имела достаточно опыта, влияния и средств, чтобы не только удерживать за собою своих крестьян, но еще и «называть» на свои земли чужих. Таким образом, когда мелкие землевладельцы разорялись в конец, крупные и знатные держались и даже пытались скупать запустевшие и обезлюдевшие земли и возобновлять

на них хозяйство. Для сохранения своего и для заведения нового хозяйства у таких владельцев существовали испытанные приемы. Они прибегали, во-первых, к перевозу чужих крестьян на свои земли и, во вторых, к различным видам экономического закабаления живших у них крестьян и всякого иного «работного» люда, попадавшего в сферу их хозяйства.

«Перевоз» крестьян к концу XVI века принял характер общественного бедствия. Закон, изложенный в Судебниках московских, указывал, что «крестьяном отказыватися из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем». Ежегодно осенью, в законный для отказа период, начиналась своеобразная кампания «отказов»: агенты богатых землевладельцев, «отказчики» являлись в чужие хозяйства и, соблазнив крестьян к выходу, «отказывали» их и «перевозили» на земли своих доверителей и хозяев. Но с места крестьян выпускали не легко и не без борьбы. Часто раздаются (по словам В. О. Ключевского) «во второй половине XVI века жалобы отказчиков на то, что землевладельцы не выпускают отказываемых крестьян, куют их в железа или, согласившись на вывоз, приняв отказ, грабят животы вывозимых крестьян и насчитывают на них слишком много пожилого». Но если своевольничали и насильничали те, кто терял крестьян, то не лучше поступали и те, кто их вывозил. Отказчики перевозили и перезывали к себе не только таких крестьян, которые имели право выхода, но всех без разбора, кого только они могли вытянуть из-за других землевладельцев. При этом они действовали «насильством», с явным нарушением правительственных правил и частных интересов. Поэтому крестьянский «выход» обычно происходил «среди споров, драк и насилий, ежегодно повторявшихся в ноябре и наполнявших суды кляузными тяжбами» (слова В. О. Ключевского). Бесконечное «насильство» в данном деле озабочивало правительство. Еще в царствование Грозного были принимаемы какие-то, нам точно неизвестные, меры относительно крестьянского вывоза и было дано какое-то «уложенье», чтобы крестьян насильством не возили или чтобы их и вовсе не вывозили в известные сроки—в «заповедные лета», которые точно определялись наперед правительством. Что это было за «уложенье» Грозного, сказать трудно; но во всяком случае московское правитель-

ство уже при Грозном пришло к необходимости вмешаться в дело крестьянского перевоза для охраны как своего интереса, так и интересов мелких служилых владельцев. Переход крестьян, сидевших на тягле, лишал правительство правильного дохода с тяглой земли, а землевладельца лишал и законного дохода и возможности служить с опустелой земли.

Если крестьянским «отказом» и «вывозом» крестьян со стороны землевладельцам удавалось пополнять рабочую силу в своих экономиях, то мерами другого порядка им удавалось навсегда закреплять за собою добытых работников. Эти меры обычно сводились к экономическому закабалению работника. Способов для того было много. Хотя по закону расчеты по крестьянской земельной аренде не связывались с расчетами крестьян по другим обязательствам, однако же конец земельной аренды — «выход» — вел естественно к ликвидации и прочих денежных расчетов крестьянина с землевладельцем. Владелец не выпускал крестьянина без окончательной расплаты, и чем более был опутан крестьянин, тем крепче сидел он на месте. Именно потому владельцы очень охотно давали своим крестьянам хозяйственную подмогу, «ссуду», ссужали им «серебро», то-есть давали им от себя хозяйственный инвентарь и хлеб в зерне — «на семена и емена» (на посев и прокорм), или же просто деньги в долг. Хотя ни ссуда, ни серебро не влекли за собою «служилой кабалы», то-есть не превращали крестьянина в холопа, однако они давали хорошие поводы к самоуправному задержанию крестьянина и тяготели над сознанием должника-земледельца, нравственно обязывая его держаться того господина, который помог ему в его нужде. Чрезвычайное развитие крестьянской задолженности во второй половине XVI века засвидетельствовано многими документами, и оно об'ясняется именно тем, что кредитование крестьян было полезно и удобно для землевладельцев.

Задолженность крестьянина сама по себе не превращала его в холопа, хотя фактически и крепила его за владельцем. Для того, чтобы сделаться холопом, то-есть потерять гражданскую самостоятельность и стать несвободным, крестьянину надлежало формально себя продать, «с пашни продаться кому в полную в холопи», как гласил Судебник. Во многих случаях это и бывало; в записных книгах служилых кабал XVI века можно читать десятки записей о

том, что в число кабальных людей вступают бобыли и крестьянские дети. В погоне за рабочими руками владельцы рады были рядить «во крестьяне» или брать к себе «во двор», в рабство, всякого, кто предлагал им свой труд и поступался своею свободою. Здесь надобно было смекнуть лишь о том, что в данном случае будет выгоднее, посадить ли пришельца на пашню «во крестьяне», или же взять на него кабалу и сделать его холопом. Один мог быть самостоятельным тяглецом на крестьянском «жеребье», и такого лучше было порядить во крестьяне, оплетя ссудою и серебром. Другого не было расчета сажать на пашню по его молодости и маломочности; такого можно было привязать к месту служилой кабалой. По записным книгам видно, что в кабалу шли в большинстве одинокие бездомные люди, сироты и бродячая крестьянская молодежь. Их еще не станет на ведение целого крестьянского хозяйства; но они уже полезны в качестве дворовых слуг и батраков. В других случаях службу «во дворе» могли предпочитать «крестьянству» и сами работники; так, например, бесхозяйному бобылю и бродячему мастеровому человеку (портному или сапожнику) в чужом дворе могло быть удобнее и приятнее, чем на своем нищем хозяйстве и бедном бродячем промысле. Таковы были, примерно, условия, создававшие кабальную или вообще холопью зависимость. Эти условия содействовали тому, чтобы за землевладельцами закреплялись непашенные элементы крестьянского мира, наиболее подвижные, даже бродячие. Отрывая людей от пашни и государева тягла, кабала не выводила их из экономии землевладельца: в этом заключалась выгода кабалы для обеих сторон: холоп освобождался от податного бремени, а его «государь»-владелец прочно закреплял за собою рабочую силу.

Однако бывали случаи, когда эта рабочая сила, готовая служить в частном дворе, не желала давать на себя формальной крепости. Бродячий человек искал работы и приюта в чужом хозяйстве, но не настолько нуждался, чтобы продавать себя совсем. Он соглашался на частную службу, но без кабалы, готов был стать «холопом», но «добровольным» или «вольным», чтобы иметь возможность уйти, когда захочется, на новое место. И таких «добровольных» слуг владельцы с радостью держали у себя за недостатком рабочего люда вообще. С точки зрения государственного порядка «вольные холопи» были нежелательным

явлением. Господам своим они не были крепки, ибо могли безнаказанно их покинуть; для государства они были бесполезны, ибо ему не служили и не платили; для администрации они были неудобны своей неуловимостью. Среди них легко могли прятаться люди, сбежавшие с государевой службы, укрывшиеся от податей и «заложившиеся» за влиятельных господ, чтобы избежать ответственности за провинности и преступления. Московское правительство вообще не поощряло «добровольной» службы без крепостных актов на работника и много раз высказывало осуждение тем, кто «добровольному человеку верит и у себя его держит без крепости». Однако «вольная» служба и работа существовала в разнообразных видах: под названиями «закладчиков», «вкладчиков», «дворников», «вольных холопов»—слуги без крепостей жили и работали в вотчинах и на городских дворах. Они представляли собою внезаконное явление и очень смущали московскую администрацию, которая иногда просто не знала, что ей с ними делать. Так, например, при переписи населения в городе Зарайске «писцы» обнаружили до 200 «закладчиков», ни служилых ни тяглых людей, и недоуменно про них писали начальству: «и всего дворников торговых и пашенных и мастеровых людей и которые живут на дворничестве, а кормятся по миру, делают наймуючись,—198 человек; а вперед тем людям как государь царь и великий князь Борис Федорович вся Русии укажет?»

VII.

Итак ко времени правления Бориса в московском общественном быту обозначился ряд тяжелых осложнений, требовавших чрезвычайного правительственного внимания и деятельного вмешательства. Выход трудовой массы из срединных частей государства на окраины создал кризис землевладения; он вовсе разорял мелких землевладельцев, живших только трудом подчиненных им крестьян; он причинял много затруднений и осложнений землевладельцам, более крупным и обеспеченным. Забота об удержании рабочей силы в пустевших хозяйствах повела к борьбе землевладельцев за рабочие руки, к ожесточенному «отказу» и «вывозу» крестьян из-за их владельцев с одних земель на другие. В борьбе за крестьян владельцы прибегали ко

всякого рода ухищрениям и правонарушениям. Обход закона и прямое насилие давали преимущество в борьбе богатому и сильному. Мелкие владельцы теряли крестьян; крестьяне же теряли в кабале у богатых свою гражданскую самостоятельность, «избывали» своего крестьянства и обращались в «кабальных людей», холопов. Рядом с формальным закабалением процветало «добровольное» холопство, не поддававшееся правительственному учету и уносившее из правильного государственного оборота в незаконную частную зависимость много служилых и платежных сил. Ко всему этому безнарядью присоединилось еще и то зло, что беглые из государства люди на «диком поле» постепенно сбивались в значительные казачьи скопища и внушали властям опасение и тревогу своим «воровским» настроением. Перед Борисом стояла настоятельная необходимость регулировать отношение крестьян и холопов к их «государям» землевладельцам и к государству и определить отношение правительства к антагонизму крупных и мелких владельцев как в крестьянском деле, так и вообще в сфере земельных отношений, где замечался упадок и запустение поместных хозяйств и чрезмерный рост церковного землевладения насчет светского. Так определяется обстановка, в которой приходилось действовать Борису.

Было бы глубоко ошибочным представлять себе дело так, что правительство Бориса понимало ход и значение потрясавшего общество кризиса с такою же ясностью, с какою понимает это теперь историческая наука. В необыкновенной сложности и многообразии общественных отношений и столкновений тогда легко было потеряться. К разрешению больных вопросов хозяйства и права неизбежен был осторожный, нерешительный и робкий подход. Правительству одновременно надлежало следить за ходом междусословных отношений, охраняя слабых и защищая обиженных, и в то же время соблюдать интересы государства, когда они страдали от общественных неустройств. Последняя задача почиталась самою важною; она по преимуществу довлела над сознанием правительства, определяя его политику в сословных делах и в борьбе земельных хозяйств за рабочую силу. Эта борьба в общем вела к разорению мелкого служилого землевладения, к личному закрепощению крестьян и к развитию кабальных отношений. Все это было невыгодно для правительства, ибо лишало государство плательщиков и служилых людей. Задолжалый и закабален-

ный крестьянин переставал тянуть свое тягло и платить «государевы подати»; поэтому правительство готово было встать на защиту его гражданской самостоятельности и готово было охранять его от разорения и эксплуатации. Потерявший крестьян и запустошивший поместье сын боярский не «отбывал» своей службы и переставал хозяйничать; поэтому правительство готово было помочь ему удержать на пашне крестьян и закрепить за ним его поместную и вотчинную землю. В обоих случаях правительственная власть становилась вместе с мужиком и мелким служилым человеком против крупного землевладельца, светского и церковного, и в своих собственных целях охраняла интересы низших общественных слоев от покушений высшей среды на их труд, на их людей и земли. Желанием оберечь для себя источники податных поступлений и боевую служилую силу государства надобно, конечно, об'яснять указы правительства Бориса о крестьянах и, по связи с ними, о кабальных людях и добровольных холопах.

Еще при Грозном московская власть сочла необходимым вмешаться в «крестьянскую возку»: Грозный дал какое-то, точно нам неизвестное, «уложение» против вывоза крестьян и установил «заповедные лета», в течение которых был запрещен вывоз и выход крестьян и посадских тяглецов. Какой срок (или какие сроки) разумело «уложение» Грозного, неизвестно. Оно действовало в 1584 году: рязанские землевладельцы ссылались на него, жалуясь царю Федору, что влиятельный дьяк Шерефединов «крестьян насильством (из) твоих государевых сел и из-за детей боярских возит мимо отца твоего, а нашего государя, уложенья». На «заповедные лета», в которые посадским и крестьянам нельзя было выходить, указывалась и в 1591—1592 годах. При этом указания делались и на прошлые «лета» и на будущие: предписывалось возвращать тех тяглецов, которые «с посаду разошлись в заповедные лета», и запрещалось впредь вывозить «крестьян в заповедные лета до нашего указу». Стало быть, установленное при Грозном, ограничительное «уложение» признавалось временным («до нашего указу»), но было длительным и простирало свою силу на целый ряд лет. Приостановка «крестьянской возки» имела в виду вообще удержать рабочее податное население на местах и прекратить его массовый уход, а затем—закрепить его за «воинскими людьми» в мелких поместьях и удержать крестьян от перехода на

ьготные земли крупных и привилегированных владельцев, от которого «великая тощета воинским людем приде». Правительство Бориса, стало быть, наследовало от Грозного его ограничительные меры и продлило их действие; но вместе с тем оно внесло в них и некоторые новости. В 1597 году последовал знаменитый указ об установлении пятилетней давности для исков на «выбежавших» крестьян. Правительство предписывало: «давать суд» и «по суду и по сыску» велеть «беглых крестьян» возить «назад, где кто жил», только в том случае, если крестьяне, «до нынешнего 106 (1597) года выбежали за пять лет». На тех же, кто выбежал «лет за шесть и за семь и за десять и больше», суда давать было не приказано, за исключением таких дел о беглых, которые были уже «засужены», то-есть начаты в судах; эти дела надлежало закончить—«вершити по суду и по сыску». Установление давности, очевидно, смягчало применение меры, установившей «заповедные лета». Нарушивший «заповедь» и убежавший в неуказные «лета» крестьянин получал возможность остаться на новом месте, если со времени его ухода истекло пятилетие. В 1601 и 1602 годах последовали новые указы в ограничение, повидимому, тех же «заповедных лет». Царь Борис в 1601 и 1602 годах в тот самый срок (конец ноября), когда обычно совершались крестьянские переходы и вывозы, дал разрешение на выход—«во всем своем государстве от налога и от продаж велели крестьянам давати выход». Впрочем, эта льгота дана была не непосредственно крестьянам, а их землевладельцам: «а отказывати и возити крестьян дворяном», говорил указ и перечислял разные чины служилых людей, дворян «обычных». Разрешая «возку» простым служилым владельцам, указ однако запрещал ее крупным лицам—высшему духовенству и монастырям, боярству и дворянам «большим». Царь отказывался возить крестьян и за себя «в дворцовые сёла и черные волости». Дело имело такой вид, что только на мелкопоместных землях во всем государстве, кроме Московского уезда, землевладельцы получали право меняться в отдельных случаях отдельными крестьянами, не превращая «отказа» и «вывоза» в систематическую хозяйственную операцию: «а которым людем промеж себя в нынешнем во 110 году крестьян возити», говорил указ: «и тем... возити меж себя, одному человеку из-за одного же человека, крестьянина одного или двух, а трех или четырех одному из-за одного

никому не возити». Смягчение «заповедных лет» получалось неполное: жалуя крестьян «от налога и от продаж» восстановлением выхода, царь Борис стремился явно не к свободе крестьянского передвижения, а к удобству и выгодам поместного служилого класса, обеспечивая его от покушений на закрепленный за ним крестьянский труд со стороны крупных и сильных землевладельцев, а также и от бродяжничества самих крестьян. В данном случае интересы помещиков совпадали с правительственными, и Борис их поддерживал именно по этой причине. Крестьянский «выход» сам по себе не представлял для него желанной цели; напротив, прикрепление трудовой массы и ее регистрация на государевом тягле или во владельческом дворе были для правительства очень желательны. Оно, без сомнения, желало укрепления крестьян на местах, а пока этого не было, стремилось направить их передвижение сообразно своим видам; но оно не решалось на полное и категорическое провозглашение крестьянской крепости, ибо не хотело отдать крестьян в частную зависимость и потерять их из тягла. Поэтому-то оно и не уничтожало права «выхода», пытаясь по-своему регламентировать его и им управлять.

То же стремление регламентировать и руководить заметно и в отношении правительства к холопьему делу. Внимание власти было привлечено к этому делу тем, что от бояр (то-есть, господ) «полные холопи и кабальные и приданые люди и жены и дети побежали». Чтобы дать «боярам» средство бороться с повальным бегством их «людей», в 1586 году правительство указало впредь всякое поступление в холопство записывать в присутственных местах: всякий, кто «бьет челом в службу», должен дать на себя «служилую кабалу» своему «государю» в Москве в приказе Холопья суда, а в других городех «с ведома приказных людей»; приказные же люди обязаны «в записных в московских в кабальных книгах и в городах те служилые кабалы записывать». Таким образом была введена обязательная запись в казенных книгах всех вновь поступающих в холопство. А в 1597 году такое укрепление холопства было сделано обязательным для всех вообще находящихся в холопстве людей: их владельцы приглашались предъявить властям документы на свою челядь и слуг и записать в «холопьи крепостные людские книги» всякие «крепости старыя, и полные и купчие и докладные, и

всякие крепости и кабалы». Предполагалась как бы общая перепись холопов. При этом о холопах «вольных», которые служили без крепостей «добровольно», было решено: опросить их всех, «сколь давно у кого служит добровольно и кабалу на себя дает ли?» Если они давали кабалу, они и становились обыкновенными кабальными людьми; если же кабалы не давали, их все таки не оставляли «вольными» слугами. Послуживших менее полугода дозволено было «отпущати на волю», а служивших с полгода и долее было приказано обращать в холопство и писать на них кабалу и без их согласия. Таким образом состояние «вольных» слуг формально упразднялось и вводилось правило, выраженное в одном указе той эпохи словами: «не держи холопа без кабалы ни одного дня, а держал бескабально и кормил,—и то у себя сам потерял». Установив однообразный и обязательный порядок укрепления холопства, закон 1597 года определил точнее самое положение кабальных людей: с этих пор (говоря словами В. И. Сергеевича) «все кабальные, и новые и старые, обращаются во временных холопов и лишаются права прекращать свое зависимое состояние уплатою долга, но за то в момент смерти кредитора все они получают свободу, не платя по кабале». Закон 1597 года о холопах еще яснее, чем указы Бориса о крестьянах, преследует цели государственные; он равно подчиняет правительственным видам интересы как «государей», так и «холопей»: их взаимные отношения должны быть направлены к тому, чтобы рабочую силу правительство могло учесть, чтобы собственникам она была достаточно «крепка» и чтобы кабальные люди не обращались в «полных» холопей по смерти их господ. Всем этим обеспечивался должный порядок, как его понимало правительство, и охранялись законные интересы обеих сторон.

Нельзя таким образом говорить, что Борис явился «основателем» или «виновником» прикрепления крестьян и творцом кабальной зависимости «вольных» людей. Если признавать, что в XVI веке были проведены общие меры, стесняющие крестьянский переход, то начало их надлежит видеть в «заповедных летах» Грозного, а не в законах времени Бориса. Если считать меры о холопах 1586 и 1597 годов первыми стеснениями «вольной» службы, то надлежит помнить, что эти стеснения одинаково простирались и на господ: Борис и их обязывал в равной мере к регистрации трудового люда, этим самым ограничивая произвол их

и возможность внезаконных сделок в ущерб указанному правительством порядку. Правила о «записке» холопов сопровождались постановлениями, явно клонившимися в их пользу. Но к беглому люду, ушедшему из государства в казачество, правительство Бориса вовсе не склонно было относиться покровительственно и мягко. Есть сведения, что к казакам на «диком поле» Борис не благоволил, за сношения с ними жестоко наказывал (например, Захария Ляпунова) и неумеренно томил рабочее население «поля» на казенных запашках, устраивая в новых только что заселенных местах на юге «десятинную пашню» на великого государя в размерах прямо непосильных для местного люда. Лет через двадцать после смерти Бориса московское правительство в переговорах с вольными казаками напоминало казакам, «какая неволя была им при прежних государях царях московских а последнее—при царе Борисе: невольно было вам не токмо к Москве приехать,—и в украинные городы к родимцам своим приттить; и купити и продати везде заказано (запрещено)». Если не успевали задержать рабочего человека на месте и не умели вернуть бежавшего «на старое печище», то его старались настичь на новом местожительстве и прикрепить к новопостроенному городу и к государевой десятинной пашне на украйне; если же не удавалось и это, то к вольному человеку относились немилостиво и склонны были считать его, выражаясь юридическим языком, за «вора», а выражаясь литературно—за «злодействующего гада», от которого надлежало ожидать только зла. Так определялось общее отношение правительства Бориса к «работным людям» — к крестьянству и холопству. Очевидно, что крестьянская среда сама по себе не пользовалась особым покровительством Бориса. Он берег ее и защищал лишь постольку, поскольку считал это необходимым для общегосударственных польз.

VIII.

Забота о податных и рабочих людях иногда ставила Бориса против московской земельной знати—«бояр». Принадлежа к этой знати по происхождению и связям, Борис именно в этой знати имел и своих врагов. Не только его личное возвышение создало их. Старая родовая, княжеская знать видела в Борисе продолжателя политики Грозного,

«опричника», который продолжал прежнее уничтожение княжат и систематически водворял на верхах московского управления людей незнатных, «обышных», непривычных к руководству делами. Современник Бориса, дьяк Иван Тимофеев, близкий к дому знатнейших князей Воротынских, посвятил целую статью в своем «Временнике» этой особенности управления Бориса. С точки зрения воспитанной в правительственных традициях боярско-княжеской среды Ив. Тимофеев брезгливо осуждает манеру Бориса покровительствовать «худородным» и возводить их на «степени высокородных» сверх всякой «меры и времени». По мнению Тимофеева, от этой манеры терпела не только обойденная знать, но все государство, как корабль, управляемый неискусным кормчим. Как тонет корабль, окормляемый «ненаученым», как гибнет стадо при дремлющем пастыре, как истощается монастырь при «неснабдителях» иноках, так и град разоряется «до иже яко не бысть» при худых правителях, жадных и корыстных, но невежественных и неумелых. Не раз Тимофеев сравнивает таких «худородных» правителей со свиньями: как «у свиньи в ноздрех усерязь (серьга) драгая видима, сице у недостойных в руку начальствия власть зрима», говорит он; «по образу нрава» у них «неразумных свиней обычай»: они все пожрут, что ни дадут им, «что и смертно, растворено же и спокрыто принесут им, они же не ощутят». Ради мзды и прибытка они все попустят и со всем примирятся, ибо не разумеют зла, которое приносят «граду», то-есть государству. Так оценивали сторонники старой знати и поклонники старых обычаев администрацию Годуновых. Они жаловались не только на отстранение знати от дел, но и на прямое гонение со стороны Бориса и его близких. Повидимому, и все вообще считали, что Борис не жалует знать. Польские послы в 1608 году вспоминали, что при Борисе «тяжело было боярам». Современник Бориса голландец Исаак Масса писал, что «Борис устранил всех знатнейших бояр и князей и таким образом совсем лишил страну и высшего дворянства, и горячих патриотов». Англичанин Флетчер был убежден, что опричнина Грозного и все его меры против княжеской знати были унаследованы правительством Бориса и что Годуновы старались всеми способами истребить или унизить всю благороднейшую и древнейшую знать. После этих отзывов можно придать некоторый вес словам Авр. Палицына, что Борис «наипаче» грабил «домы и села

бояр и вельмож». Если дело и не обстояло так круто и грубо, как его представляли недоброжелатели Бориса, все таки ясно, что родовая знать при Борисе не играла никакой роли ни в государстве, ни во дворце; она уступила Борису и самый престол московский по смерти царя Федора. Не трудно понять, что автор хронографа 1616 года был прав, когда сказал, что Борис «на ся от всех Русские земли чиноначальников негодование наведе». Чтобы вызвать и питать это острое негодование знати, Борису не надобны были ни опалы, ни казни: вся его деятельность, чуждая старых до-опричнинских дворцовых традиций, и сам он, воспитанный в эпоху опричнины, с его не всегда родовитою роднею, ставшею у дел,—были неприятны и неприемлемы для тех, кто помнил цветущее время княжеской московской аристократии и был ее поклонником и сторонником.

Духовенство московское, современное Борису, обычно считается дружественным ему, а патриарх Иов, обязанный Борису самым патриаршим саном, изображается преданнейшим ему «приятелем». Действительно, в своих литературных произведениях Иов всегда панегирически отзывался о Борисе и сам себя представлял его поклонником и сторонником. В дни царского избрания в 1598 году Иов с московским «освященным собором» (то-есть, с патриаршим духовным советом и свитою) занимал руководящее положение. Он первый назвал в цари Бориса и водил за собою в Новодевичий монастырь к Борису все духовенство, в челе земского собора и народной массы, просить Бориса на царство. Иов потерял патриаршество одновременно с низложением Годуновых и таким образом разделил судьбу той династии, которую сам избрал и венчал на Московский престол. И в прочем духовенстве, после неудачной интриги митрополита Дионисия и князей Шуйских, не видно никаких движений против Бориса. Регент и монарх, Борис умел ладить с служителями церкви. Повидимому, с успокоением государства он нашел возможным восстановить «тарханы» (льготы) церковных землевладельцев, временно отмененные соборами 1580 и 1584 годов «покаместа земля поустроится». Это была исключительно милостивая мера, возвратившая монастырям и кафедрам особо льготное податное положение, утраченное ими в дни государственных невзгод, и Борис имел поэтому основание хвалиться тем, что он «все сохи в тарханех учинил». Но эта милость Бориса вовсе не значила того, что государство во всем уступало имуще-

ственным интересам духовенства. В крестьянском деле указы Бориса возбраняли «крестьян возити» за патриарха, митрополитов и прочих владык, а также и за монастыри,— наравне с боярами и «большими» дворянами. Крестьянский отказ и «вывозка» допускалась лишь среди мелких «приказных людей» патриарха и владык, как и среди соответствующих мелкопоместных светских владельцев. Церковные земли, стало быть, были поставлены в одно положение с прочими безо всяких льготных исключений. Затем правительство Бориса предприняло ряд мер к тому, чтобы произвести ревизию вотчинных прав монастырей и устранить возможные злоупотребления ими. В 1590 году последовал любопытный указ о том, чтобы монастыри не передавали «за вклады» своих земель в частное обладание и пользование; лица, державшие за собою монастырские земли, должны были возвратить их монастырю, а монастырь возвращал им их вклады, если бы вкладчики пожелали взять свои деньги обратно. Этою мерою пресекалась возможность не только отдачи монастырских земель в пожизненное владение за денежный вклад, но и передача земли от служилого человека монастырю с правом пожизненного пользования ею. Последняя операция была удобным средством для землевладельцев вывести землю из службы, не потеряв владения его на деле, и вследствие этого стать «детьми боярскими неслужилыми». В борьбе за принцип чтобы земля из службы не выходила, правительство пошло в 1593—1594 гг. на общий пересмотр монастырского землевладения и произвело поверку прав даже у виднейших монастырей (Троице-Сергиева, Спасо-Ефимьева) на все их земли; при этом многие монастырские вотчины были отбираемы «на государя», если монастырь не оправдывал документами своего на них права. Таким образом в столкновениях интересов государства и церковных собственников Борис оставался хранителем первых и, как во многом другом, был верным слугою государства.

Очерк сословной политики Бориса приводит именно к такому выводу, что Борис не служил никакому частному или классовому интересу. Со старою княжескою знатью у него не могло быть приязни; напротив, вся история личного возвышения Бориса показывает взаимное недружелюбие Бориса и княжат. Вожделения и нужды трудовой массы, уходившей от крепостного ярма, Борис приносил в жертву государственным пользам, которые в данном

случае он об'единял с хозяйственными нуждами служилого класса. Заботясь о поддержании хозяйств на служилых землях, он оказывал поддержку рядовым мелкопоместным «дворянам и детям боярским». Но в то же время с этих рядовых «помещиков великого государя» и вотчинников— служилых людей он требовал службы в полной мере и за тем, чтобы земля их службы не выходила, следил с такою же строгостью, с какою всегда следила за этим московская власть. Нельзя назвать ни одной общественной группы, которой Борис создал бы особо льготное положение и которой бы он особенно покровительствовал. Время было настолько смутно и трудно, кризис переживался с таким общественным напряжением, что правительство было лишено возможности создать кому бы то ни было льготную обстановку. Оно не могло угодить всем и всех удовлетворить при том условии, что стихийный антагонизм землевладельческих слоев и рабочей массы не мог быть уничтожен одною правительственною мудростью и ловкостью.

Однако ловкость и проницательность Бориса чутко подсказывали ему, что необходимо было предпринять в видах возможного успокоения страны.

IX.

Власть перешла в руки Бориса как раз в ту минуту, когда московское правительство сознало силу общественного кризиса, тяготевшего над страною, и поняло необходимость с ним бороться. От своих предшественников по управлению государством, самого Грозного и Никиты Романовича Юрьева, и от таких административных дельцов, каковы были знаменитые дьяки братья Андрей и Василий Щелкаловы, Борис усвоил положение дела и воспринял известные намерения. Не он, вероятно, был создателем идеи успокоительной политики, но он явился ее проводником и оказался в высшей степени к этому пригодным по своим личным свойствам. Мягкий и любезный, склонный к привету и ласке в личном обращении, «светлодушный» по современному определению, Борис был чуток к добру и злу, к правде и лжи; он не любил насильников и взяточников, как не любил пьяниц и развратников. Он отличался личной щедростью и «нищелюбием» и охотно приходил на помощь бедным и обездоленным. Современники, все в один голос, говорят нам о таких свойствах Бориса. Из их отзывов видно,

что воспитанный в среде опричников, Борис ничем не был на них похож и из пресловутого «двора» Грозного с его оргиями, развратом и кровавою «жестостию» вынес только отвращение к нему и сознание его вреда. Соединяя с большим умом административный талант и житейскую хитрость, Борис сумел внести в жизнь дворца и в правительственную практику совершенно иной тон и новые приемы. Пристальное знакомство с документами той эпохи обнаруживает большую разницу в этом отношении между временем Грозного и временем Бориса. При Борисе московский дворец стал трезвым и целомудренным, тихим и добрым, правительство—спокойным и негневливым. Вместо обычных от царя Ивана Васильевича «грозы» и «казни», от царя Федора и «доброго правителя» Бориса народ видел «правосудие» и «строение». «А строение его в земле таково (говорили о Борисе его чиновники), каково николи не бывало: никто большой, ни сильный никакого человека, ни худого сиротки не изобидят». Очень характерно для Бориса было то что он вменял себе в заслугу именно гуманность и справедливость. Но от «светлодушия» и доброты Бориса было бы ошибочно заключать к его правительственной слабости. Власть он держал твердою рукою и умел показать ее не хуже Грозного, когда видел в этом надобность. Только Грозный не умел обходиться без плахи и веревки, а Борис никогда не торопился с ними. На интригу отвечал он не кровью, а ссылками; казнил по сыску и суду; а «государевы опалы», постигавшие московских людей без суда и сыска, при Борисе не сопровождались явным кровопролитием. Современники, не принадлежавшие к числу друзей Бориса, ставили ему в вину то, что он любил доносы и поощрял их наградами, а людей опальных приказывал их приставам «изводить»—убивать тайно в ссылке. Но доносы составляли в московском быту того времени не личную слабость Годунова, а печальный обычай, заменявший собою позднейшую «агентуру». А тайные казни (если захотим в них верить) были весьма загадочными, и редкими, можно сказать, единичными случаями. Сила правительства Бориса заключалась не в терроре, которого при Борисе вовсе не было, а в других свойствах власти: она действовала технически умело и этим приобрела популярность. Борис в успокоении государства, после опричнины и несчастных войн, добился несомненного успеха, засвидетельствованного всеми современниками. Под его

управлением страна испытала действительное облегчение. Русские писатели говорят, что в правление царей Федора и Бориса Русской земле Бог «благополучно время подаде»: московские люди «начаша от скорби бывшие утешатися и тихо и безмятежно жити», «светло и радостно ликующе», и «всеми благинями Росия цветяше». Иностранцы также свидетельствуют, что положение Москвы при Борисе заметно улучшалось, население успокаивалось, даже прибывало, упавшая при Грозном торговля оживлялась и росла. Народ отдыхал от войн и от жестокостей Грозного и чувствовал, что приемы власти круто изменились к лучшему.

Достигалось это, насколько можно судить, прямым смягчением податных и служебных требований, пред'являемых правительством к населению. Восстановление иммунитетов, отмененных в последние годы Грозного; уменьшение окладов «дани», то-есть прямых податей, и попытка перейти к системе откупов (особенно в винной регалии) для пополнения «великого государя денежной казны»; частные льготы людям разных сословных групп; поощрение торга, особенно с иностранцами,—вот приблизительно те меры, которыми Борис думал поднять общественное благосостояние. В гиперболической передаче московских чиновников эти меры получали характер всеобщего освобождения от всяких платежей и повинностей: Годунов якобы «что ни есть земель всего государства, все сохи в тарханех учинил, во льготе: даней никаких не емлют, ни посох ни к какому делу, городовые дела всякие делают из казны наймом». При воцарении своем Борис, по казенной версии, служилым людям «на один год вдруг три жалованья велел дать», «а с земли со всей податей, дани и посохи и в городовые дела, и иных никаких податей имати не велел», «и гостем и торговым людям всего Российского государства в торгех повольность учинил». К общим послаблениям и льготам присоединялась широкая благотворительность Бориса, в которой обнаруживалась его личная щедрость и тароватость: Борис любил слыть «нищелюбцем» и «неоскудным подавателем». К денежным подачкам он присоединял и заботу о восстановлении прав и о защите интересов бедных и слабых людей; он наказывал обидчиков и взяточников и выставлял напоказ свое «правосудие» и ненависть ко «мздоимству». Особым видом благотворительности в системе Бориса были общественные работы (если возможен этот термин в применении к тому времени):

Борис прибегал к ним в различных формах и во всех удобных случаях.

Во все годы своей власти Борис чрезвычайно любил строить и оставил по себе много замечательных сооружений. Начал он свои государственные постройки стеною Московского «белого» города, шедшего по линии нынешних Московских бульваров. Эту стену, или «град каменной около большого посаду подле земляные осыпи», делали семь лет, а «мастером» постройки был русский человек «церковный и палатный мастер» Федор Савельев Конь (или Конев). По тому времени это было грандиозное и нарядное сооружение. С внешней стороны его прикрыли новою крепостью—«древяным градом» по линии нынешней Садовой улицы, «кругом Москвы около всех посадов». С участием того же мастера Коня в то же приблизительно время построили в Астрахани каменную крепость. С 1596 года начали работать по сооружению знаменитых стен Смоленска, и строил их все тот же «городовой мастер» Федор Конь. Стены Смоленские, длиною более 6 верст, с 38 башнями, были построены менее, чем в пять лет. Делали их «всеми городами Московского государства; камень возили (люди) изо всех городов, а камень имали, приезжая из городов, в Старице да в Рузе, а известь жгли в Бельском уезде у Пречистые в Верховье». Так широко раскинулись строительные операции Смоленского города. К работам были привлечены из разных городов «каменщики и кирпичники»; велели даже «и горшечников поимать» и послать в Смоленск к крепостному строенью. Борис сам ездил в Смоленск на закладку стен «с великим богатством» и по дороге «по городам и по селам поил и кормил», обратив свое путешествие как-бы в сплошное торжество; «кто о чем добьет челом, и он всем давал, являяся всему миру добрым». При докладе царю Федору о строении Смоленска Борис хотел сказать, что новая ограда этого города станет украшением всем городам московским; он выразился так что «сей город Смоленск будет всем городам ожерелие». На это присутствовавший тут боярин князь Федор Михайлович Трубецкой «противу Борисовых речей» ядовито заметил: «как в том ожерелье заведутся вши, и их будет и не выжить». Записавший слова Трубецкого летописец нашел их справедливыми: «и сие слово (говорит он) по летах неколицех сбыться, множество бо людей с обоих стран под стенами града того падоша». Но Борисово

«ожерелье» было все-таки необходимо для государства и оправдало себя уже в Смутное время, задержав надолго короля Сигизмунда под Смоленском. Наконец, Борис на южных границах государства с необыкновенною энергиею продолжал строительство Грозного. В 1570-х годах был разработан в Москве план занятия «дикого поля» на юге крепостями, и постройка городов была начата; но главный труд выполнения плана пришелся уже на долю Бориса. При нем были построены Курск и Кромы; была занята линия р. Быстрой Сосны и поставлены на Сосне города Ливны, Елец и Чернавский городок; было занято, далее, течение р. Оскола городами Осколом и Валуйками; «на Дону на Воронеже» возник г. Воронеж; на Донце стал г. Белгород; наконец, еще южнее построили Царев-Борисов город. Эта сеть укреплений, планомерно размещенных на степных путях, «по сакмам татарским», освоила Московскому государству громадное пространство «поля» и закрыла для татар пути к Москве и вообще в московский центр.

В пределах самой Москвы, кроме «белокаменных» стен «Царева города» и деревянной стены внешнего города «скородума», Борис создал много зданий и церквей. По хвалебному слову патриарха Иова, Борис «самый царствующий богоспасаемый град Москву, яко некую невесту, преизрядною лепотою украси: многие убо в нем прекрасные церкви каменные созда и великие палаты устрои, яко и зрение их великому удивлению достойно; ... и палаты купеческие созда во упокоение и снабдение торжником». Прежде всего, Борису принадлежит построение знаменитой колокольни «Ивана Великого» в Кремле. В Кремле же Борис поставил обширное здание для приказов у Архангельского собора и большие каменные палаты «на взрубе» («запасный двор»). В Китай-городе после пожара торговых «рядов» Борис выстроил новые каменные ряды—«палаты купеческие», и кроме того через р. Неглинную построил «большой мост» со многими лавками («камарами»). В разных частях Москвы Борисом были вновь поставлены каменные церкви и хорошо украшены; многие старые были обновлены; а кроме того Борис задумал постройку в Москве нового собора. Об этом новом храме современники говорят, как об исключительном сооружении. Он должен был затмить и заменить первенствовавший в Москве Успенский собор, «древнего здания святителя Петра храм Успения Божия Матере». Для нового собора собраны были

«орудия» и материалы, «много множество». Но постройка не состоялась, а материал для нее впоследствии царем Василием Шуйским был распродан и пошел на другие постройки, даже «на простые хоромы». Столь же печальную участь имело и другое предприятие Бориса: он соорудил какую-то особую плащаницу или, по точному выражению Ив. Тимофеева, «Христа Бога гроб, божественные Его плоти вместилище», по образцу Иерусалимского «мерою и подобием». Повидимому, это было подражание Иерусалимской кувуклии в храме св. Гроба Господня с изображениями Христа и Богоматери, архангелов, апостолов, Иосифа Аримафейского и Никодима. «Подобия» или «чеканные образы» блистали золотом, бисером и самоцветами, так что, смотря на них, едва можно было «устояти» на месте. По смерти Бориса это сооружение почему-то вызвало глумление черни, погромившей семью Годуновых: «то вражиею ненавистью раздробиша и, на копья и на рогатины встыкая, по граду и по торжищу носяху позорующе, забыв страх Божий» (так официально писалось в феврале 1607 года). При такой страсти Бориса к постройкам и сооружениям, естественно, что он прибегал к этому средству занять народ и дать ему заработок при всяком подходящем случае. Так, в голодные годы (1601 и следующие) кроме подаяния деньгами и хлебом, население получало от правительства работу на постройках. Один из иностранцев (Т. Смит) отмечает, что именно в виду всеобщей голодовки Борис предпринял, например, дополнительное укрепление внешней стены города Москвы: «приказал построить галлереи («обламы») вокруг самой крайней стены великого города Москвы».

В государственной деятельности Бориса любопытною чертою было его благоволение к иноземцам. Современники упрекали Ивана Грозного за склонность к общению с иноземцами и иноверцами. Во «Временнике» Ивана Тимофеева находятся замечательные в этом отношении строки. Вместо избиваемых и изгоняемых вельмож Грозный будто-бы возлюбил «от окрестных стран приезжающая»; иноземцам он вверял свою душу, приближая их в свое «тайномыслие», и доверял свое здоровье, слушая их «врачебные хитрости». От этого происходил «души его вред, телесное паче нездравие». Без всякого принуждения сам он вложил свою главу «во уста аспида», и потому «вся внутренняя его в руку варвар быша»: они делали с ним все, что хотели. Все беды времени Грозного Тимофеев приписывает господ-

ству иноземцев над Грозным. Такова была национальная опозиция европеизму Грозного. Однако Борис и в данном отношении последовал Грозному, не боясь обвинений, падавших на его политического учителя. В «Истории» Н. М. Карамзина старательно собраны указания на любовь Бориса к европейскому просвещению и к «немцам». «В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России», говорит Карамзин. Борис мечтал учредить на Руси европейские школы (даже будтобы университеты); он приказывал искать заграницей и вывозить в Москву ученых; принимал чрезвычайно милостиво тех иностранцев, которые по нужде или по доброй воле попадали в Москву на службу, для промысла или с торговою целью; много и часто беседовал он со своими медиками иностранцами; разрешил постройку лютеранской церкви в одной из слобод московского посада; наконец, настойчиво желал выдать свою дочь Ксению за какого-либо владетельного европейского принца. Последнее желание Борис пытался исполнить дважды. Первый раз был намечен в женихи изгнанный из Швеции королевич Густав, которого пригласили в Московское государство на «удел» и очень обласкали. Но Густав не склонен был ради Ксении изменить ни своей религии, ни своей морганатической привязанности, которая последовала за ним в Москву из Данцига. Дело со сватовством расстроилось, и Густав был удален с царских глаз в Углич, где его приберегали на случай возможного воздействия его именем и особою на Шведское правительство. Однако Густав не пригодился и против Швеции; он умер мирно в Кашине в 1607 году. Сближение Бориса с Данией повело к другому сватовству: в 1602 году в Московию прибыл, в качестве жениха царевны Ксении, брат датского короля Христиана герцог Ганс (или Иоанн). С герцогом Гансом дело пошло лучше, чем с Густавом; но волею Божией Ганс расхворался и умер в Москве месяца через полтора по приезде. Любопытнейший дневник датского посла Акселя Гюльденстиерне, сопровождавшего герцога Ганса в Москву, дает читателю много подробностей не только о делах свадебных, но и о московском быте вообще, и о московских деятелях до самого Бориса включительно. Больного Ганса Борис не раз посещал сам, нарушая обычай царский, по которому все болящие лишались права «видеть царские очи». У постели Ганса царь выказывал много внимания и ласки герцогу,

вздыхал и даже плакал; с обычною наклонностью к жесту «указывал он обеими руками на свою грудь, говоря: здесь герцог Ганс и дочь моя!». Когда Ганс скончался, датским послам сказали, что царь от великого горя слег в постель. На вынос тела царь прибыл лично и трогательно простился с почившим, причем настоял на полном помиловании одного из датчан, взятого под арест и подлежавшего тяжкому наказанию за покушение на убийство. Очевидно, смерть нареченного зятя искренно опечалила Бориса: со слезами причитал он у гроба: «ах, герцог Ганс, свет мой и утешение мое! по грехам нашим не могли мы сохранить его!»... «Царь от плача (говорит очевидец) едва мог выговаривать слова».

При Борисе московское правительство впервые прибегло к той просветительной мере, которая потом, с Петра Великого, вошла в постоянный русский обычай. Оно отправило заграницу для науки нескольких «русских робят», молодых дворян; они должны были учиться «накрепко грамоте и языку» той страны, в которую их посылали. Документально известно о посылке в Любек пяти человек и в Англию—четырех. По свидетельству же одного современника—немца, было послано всего 18 человек, по 6-ти в Англию, Францию и Германию. Из посланных назад не бывал ни один: часть их умерла до окончания выучки, часть куда-то разбежалась от учителей «неведомо за што», а кое-кто остался навсегда заграницею, проникшись любовью ко вновь усвоенной культуре. Один из таких Никифор Олферьев Григорьев стал в Англии священником, «благородным членом епископального духовенства», и во время пуританского движения (1643) даже пострадал за свою стойкость в его новой вере, лишившись прихода в Гентингдоншире. Напрасно московские дипломаты пытались заводить заграницею речь о возвращении домой посланных: ни сами «робята», ни власти их нового отечества не соглашались на возвращение их в Москву.

Очерк политической деятельности Бориса не вскрывает никакой «системы» или «программы» его политики. Московские люди того времени не имели привычки возводить мотивы своих действий к отвлеченному принципу или моральному постулату. Если они и приводили в своих суждениях тот или иной резон, то обычно это было указание, что «так повелось», или же что «и быть тому непригоже»; а почему одно «повелось», а другое «непригоже», они не об'ясняли. Так и Борис не об'яснял своих действий

и намерений никакой обобщающей или об'единяющей мыслью, кроме разве общего указания на государственную пользу и общее благосостояние. Поэтому исследователь лишен возможности говорить о целях и планах Бориса, как политика и администратора; он может о них лишь догадываться. Несколько легче определить по известным фактам тенденцию, руководившую на деле политикой Бориса: несомненно, он действовал в пользу средних классов московского общества и против знати и крепостной массы. По крайней мере именно от средних общественных слоев он получал благосклонную оценку и признание принесенной им пользы и «благодеяний к мирови». Простой народ (не крепостная масса, а свободные его слои, «поспольство» по-польски) очень любил и ценил Бориса, «взирал на него, как на Бога», по словам одного современника, и рад был «прямить» и служить ему. По общему признанию русских писателей того времени, Борис «ради строений всенародных всем любезен бысть». «Зряще разум его и правосудие», «праведное и крепкое правление» и «людем ласку великую», народ излюбил его на престол царский в 1598 году. Широкая популярность Бориса при его жизни—вне всяких сомнений. «Борис так расположил к себе, что о нем говорили повсюду», замечает даже ненавистник его, голландец Исаак Масса. Вряд ли можно сомневаться, что за простым желанием нравиться и исканием популярности у Бориса скрывалась более глубокая и серьезная цель—перенести опору власти с прежних оснований, вотчинно-аристократических, на новые более демократические и основать правительственный порядок на поддержке мелкого служилого класса и свободного тяглого населения. Политический расчет Бориса был дальновиден и для московского правительства был оправдан всем ходом общественной жизни XVII века. Но сам Борис не мог воспользоваться плодами собственной дальновидности, ибо при его жизни средние слои московского общества еще не были организованы и не сознали своей относительной социальной силы. Они не могли спасти Бориса и его семьи от бед и погибели, когда на Годуновых ополчились верх и низ Московского общества: старая знать, руководимая давнею враждою к Борису и его роду, и крепостная масса, влекомая ненавистью к московскому общественному порядку вообще.

Глава третья.

ТРАГЕДИЯ БОРИСА.

I.

«Но время приближалось», говорит Карамзин о конце царствования Бориса: «когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцем отечества, наконец, за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горкий плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда небесного». Карамзин считает «беззакопием» Бориса то преступление, которое ему приписывалось современниками,—убийство царевича Димитрия в Угличе. В другие «беззакония» Бориса Карамзин не верил; но в это не смел не верить, так как оно утверждаемо было церковью. Несчастье Бориса заключалось не только в том, что он стал жертвою злословия и клеветы, но и в том, что это злословие и клевета получили непререкамую для своего времени санкцию правительства и духовенства и обратились из обывательского подозрения в официальную истину и церковное утверждение.

Ропот зависти и злобы сопровождал, конечно, всякий шаг Бориса по пути его к власти и единоличному господству во дворце и государстве. Его удача об'яснялась не только его умом и счастьем, но еще более хитростью, «пронырством» и «злодейством». Борьба Бориса с боярами-княжатами за дворцовое преобладание повела за собою ссылки бояр (причем кое-кто из них в ссылке умер) и даже казни некоторых их сторонников. Все эти беды были приписаны «властолюбию» Бориса и зачтены ему в личную вину. Вступление «царского шурина» в регенство сопровождалось

в глазах Москвы многими «жертвами» и в них молва о ненасытном властолюбии временщика находила себе достаточное основание. Если Борис сумел воспользоваться малоумием царя Федора для того, чтобы стать правителем государства, то естественно было ждать, что правитель воспользуется царским неплодием для того, чтобы стать самому наследником царства и «улучить» себе престол. Подобного рода подозрения и гадания в такой мере соответствовали обстановке и характеру Бориса, что казались непререкаемыми; их невозможно было опровергнуть никакими доводами и соображениями. Кого и как мог бы убедить Борис в том, что он не желает власти, когда он несколько лет вел борьбу за власть? Да и на самом деле, неужели он не желал власти? А раз поверить вообще в «ненасытное властолюбие» Бориса, то как не соблазниться поверить и в то, что скорая смерть царевича Димитрия явилась плодом того же властолюбия? Царевич умер как раз тогда, когда Борис одолел всех своих соперников во дворце и стал у самого трона, как «бодрый правитель» и «ближний приятель» царя Федора. Ненавистники счастливого временщика говорили вероподобно, что Борису время было устранить и последнее лицо, стоявшее между ним и троном, именно царского сына, подраставшего в Угличе.

После всего того, что было напечатано о смерти царевича Димитрия, нет никакой нужды заново излагать все частности дела и возобновлять старую и безнадежную полемику о том, умер ли царевич в Угличе, или же спасся от покушения; и если умер, то сам ли зарезался, или был зарезан; и если был зарезан, то участвовал ли в этом преступлении Борис, или же не участвовал [1]). Тех, кто твердо усвоил себе мнение, что царевич спасся из Углича и в 1605 году пришел в Москву на «прародительский престол», а равно и тех, кто верит, что царевича заклали по повелению «лукавого раба» Бориса Годунова, наше изложение не разубедит. Оно имеет в виду иную цель—представить дело так, как выясняется оно по текстам уцелевших документов читателю, не склонному к предвзятым обвинениям против Бориса и не зависящему от того или

[1]) Весь материал по вопросу о смерти царевича, до последнего десятилетия, рассмотрен в статье А. П. Тюменева: «Пересмотр известий о смерти царевича Димитрия» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1908 г., май и июнь.

иного толкования «следственного дела» или пресловутых «житий» и «сказаний».

Известно, что царевич скончался 15-го мая 1591 года в Угличе от раны, полученной им в «горло» и повидимому захватившей сонную артерию. Через два дня это стало известно в Москве и оттуда в тот же день была послана в Углич следственная комиссия. Она прибыла в Углич 19-го мая и произвела следствие, установившее, что царевич покололся ножом сам в припадке «черной» болезни. Документы этого следствия, склеенные в один «столбец», сохранились до нашего времени и не раз были напечатаны под именем «следственного дела». В 1913 году «дело» было издано facsimile [1]) и таким образом весь следственный материал теперь доступен обзору и самому тщательному исследованию. Когда в 1605 году самозванный царь Димитрий явился в Москву, следствие 1591 года считалось опровергнутым, а царевич живым. Когда же в 1606 году этого Димитрия убили, а мощи подлинного царевича принесли в Москву и торжественно поставили «у правого столпа» в Архангельском соборе, истина следственного дела не была восстановлена. Народу официально сообщалось, что царевич Димитрий «по зависти Бориса Годунова, яко агня незлобивое, заклася»; на гробе царевича была сделана надпись, что царевич убиен был «повелением Бориса Годунова»; в житии нового святого писалось, что он неповинным страданием стяжал себе нетление и дар чудес, ибо принял заклание «от лукавого раба своего Бориса Годунова». Обвинение против Бориса было заявлено и правительством Шуйского и церковью, но оно не было ничем документальным подтверждено и осталось голословным. Только в различных редакциях «житий» царевича Димитрия и в сказаниях о самозванце частные авторы приводили различные версии рассказов о том, как устраивались по наущению Бориса всякого рода покушения на жизнь царевича, пока, наконец, один из убийц не «прореза гортань ему». Эти версии одна с другой несходны, вообще необстоятельны и значения документальных данных ни в каком случае иметь не могут. Расположенные в порядке их появления, хронологически, жития и сказания пред-

[1]) Владимир Клейн. «Угличское следственное дело о смерти царевича Димитрия 15 мая 1591 года». Часть I: «Дипломатическое исследование подлинника». Часть II: «Фототипическое воспроизведение подлинника и его транскрипция». Москва. 1913.

ставляют любопытный образец постепенного наслоения легендарных деталей на эпическом сюжете: они чем позднее, тем полнее, и в этом отношении имеют некоторую цену для историка письменности, но для истории факта никакой цены иметь не могут. Гораздо важнее для историка те отзывы о факте смерти царевича Димитрия, которые находятся у современных писателей о смуте XVII века, не желавших описывать Угличское событие, но мимоходом его вспоминавших.

Пользуясь всем помянутым материалом—следственным делом, сказаниями, житиями и отзывами современников,—мы попробуем дать некоторые справки об Углицких событиях, необходимые для дальнейшего освещения трагедии Бориса.

Любопытны прежде всего те отношения, какие установились между московским двором и сосланной с Москвы в Углич семьей царевича—царицей Марьей Федоровной и братьями ее, Нагими. По внешности господствовало взаимное доброжелательство. В Москву, например, с именин царевича 19 октября, на память мученика Уара (царевичу «прямое имя» было Уар, а Димитрий было имя «мирское»), по тогдашнему обычаю присылали государю «пироги»; государь же отдаривал царицу Марью мехами, а ее посланца А. А. Нагого камками и деньгами. Но подобными знаками внимания доброжелательство и ограничивалось. Семью Нагих держали в Угличе не «на уделе», а под надзором, который был поручен особому чиновнику, присланному в Углич от московского правительства, дьяку Михаилу Битяговскому. Как этого Битяговского, так и других агентов власти Нагие не любили и с ними ссорились. Шла у них, например, «брань за то, что Михайло Нагой у М. Битяговского прашивал сверх государева указу денег из казны, и Михайло (Битяговский) ему отказал, что ему мимо государев указ денег не давывать». В самый день смерти царевича Мих. Нагой с Битяговским «бранилися же за то, что Михайло Нагой не отпустил посохи», то-есть людей, потребованных с подводами для государева войска. Ненависть к Битяговскому привела к тому, что его убили первого во время погрома, учиненного Нагими в Угличе после смерти царевича. Таким же убийством грозили и другому московскому чиновнику, «городовому прикащику» Русину Ракову, присланному из Москвы в Углич для сбора посохи. Ему говорили, что он «не для посохи прислан,

а прислан проведывати вестей, что у них деется». Его гнали вон из Углича, грозя: «чего тебе здеся дожить? того ли дожидаешься, что и тебя с теми же побитыми людьми вместе положити, с Михайлом с Битяговским с товарищи?» Такие же чувства питала семья Нагих и к высшим чинам московской администрации, к тому правительству, которое сослало их из Москвы в захудалый город и лишило дворцового почета и столичных удобств. Осторожный в своих отзывах, Авр. Палицын решается однако открыть своему читателю, что царевич Димитрий был от своих «ближних», то-есть родственников, «смущаем за еже не вкупе пребывания с братом», то-есть за высылку из Москвы, и потому «часто в детских глумлениях глаголет и действует нелепо о ближнейших брата си (царя Федора), паче же о сем Борисе (Годунове)». «Нелепые» действия мальчика описаны одним из современников-иностранцев (Буссовым). Отметив, что царевич проявлял вообще «отцовское жестокосердие», Буссов рассказывает, что раз он велел своим товарищам молодым дворянам сделать из снегу несколько фигур, назвал их именами известных бояр, поставил рядом и начал рубить, приговаривая: «так им будет в мое царствование». Разумеется о чувствах Нагих к боярам шли доносы в Москву. Палицын, с обычным для него уменьем тонко выразиться, говорит, что нашлись враги (Нагим) и «ласкатели» (боярам), «великим бедам замышленницы, в десятерицу лжи составляюще, с сими (лжами) подходят вельмож, паче же сего Бориса, и от многие смуты ко греху низводят, его же краснейшего юношу (Димитрия) отсылают нехотяща в вечный покой». В московском обществе слухи о злом нраве царевича и о возможности покушений на него ходили еще до смерти царевича. Англичанин Флетчер, выехавший из Москвы в 1589 году и напечатавший свою книгу о России в Лондоне в 1591 году, поместил в ней такие знаменательные строки о Димитрии: «Жизнь его находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя (Федора); кормилица, отведавшая прежде него какого-то кушанья, как я слышал, умерла скоропостижно. Русские подтверждают, что он точно сын царя Ивана Васильевича, тем, что в молодых летах в нем начинают обнаруживаться все качества отца: он, говорят, находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний

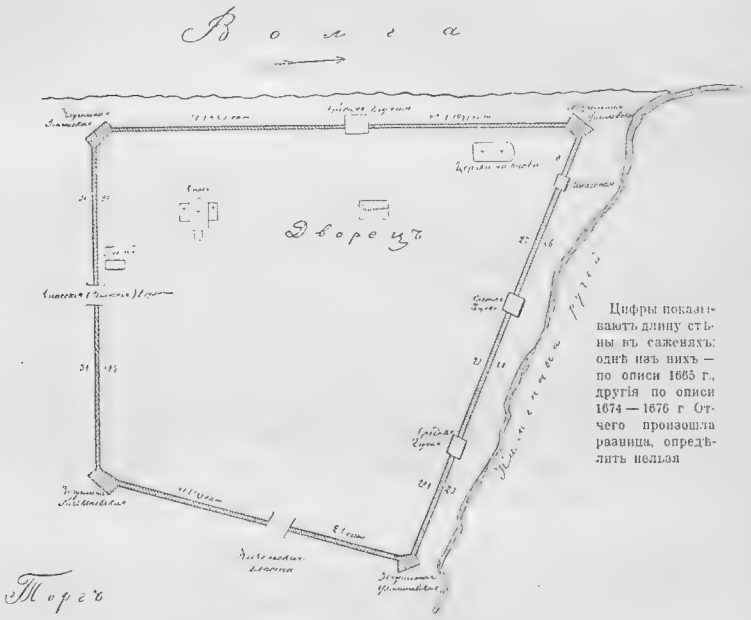
скот, видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь (тогда как дети обыкновенно боятся этого) и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не подохнут». Понятно, что такие слухи и отзывы о царевиче не могли способствовать установлению согласных и доверчивых отношений между Москвою и Угличем: стороны взаимно опасались друг друга и питали взаимную вражду. По сообщению современников, в Москве желали смерти царевичу, а в Угличе мечтали о скорой кончине царя Федора. Буссов говорит, что многие бояре видели в царевиче подобие царя Ивана Васильевича и весьма желали, чтобы сын скорее отправился за отцом своим в могилу. В челобитной же царю Федору «горькой вдовицы» Авдотьи Битяговской упоминается, что убитый в Угличе Михайло Битяговский «говорил многижда да и бранился с Михайлом (Нагим) за то, что он (Нагой) добывает беспрестанно ведунов и ведуний к царевичу Димитрию; а ведун Ондрюшка Мочалов—тот беспрестанно жил у Михаила да у Григорья да у Ондреевы жены Нагого у Зиновии; и про тебя, государя (поясняла челобитчица царю Федору) и про царицу (Ирину Федоровну) Михайло Нагой тому ведуну велел ворожити, сколько ты, государь, долговечен и государыня царица».

Возможно, как кажется, об'яснить источник того убеждения, что царевич Димитрий вышел нравом в отца. Ребенок страдал тяжелой болезнью. Это была эпилепсия с основною чертою эпилептических страданий,—периодичностью припадков, и с эпилептическим психозом—неистовством. Многие свидетели удостоверяют это. Одни говорят, что «падучая немочь» или «падучий недуг»—старая болезнь царевича: «на нем была же та болезнь по месяцем беспрестанно». Другие точнее определяют время припадков, сроком более месяца между припадками: у царевича, говорят они, была болезнь «в великий пост», потом перед самой Пасхой (которая в 1591 году праздновалось 4 апреля), потом 12 мая. Во время припадков мальчика бросало на землю; когда же его подхватывали, он дрался и кусался на руках у людей. Вот как описывали очевидцы его последний припадок и приступ его болезни вообще: «Играл царевич ножиком» говорила его мамка: «и тут на царевича пришла опять та же черная болезнь, и бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго да туто его и не стало. А и преже того, сего году

в великое говенье, та же над ним болезнь была, падучей недуг, и он поколол сваею (большим гвоздем) и матерь свою, царицу Марью, а вдругоряд на него была та же болезнь перед Великим днем, и царевич об'ел руки Андрееве дочке Нагого: едва у него Андресву дочь Нагого отняли». Сам Андрей Нагой показал, что царевич «ныне в великое говенье у дочери его руки переел да и у него у Андрея царевич руки едал же в болезни, и у жильцов, и у постельниц: как на него болезнь придет, и царевича как станут держать, и он втепоры ест в нецывенье (беспамятстве, забытье), за что попадется». Вдова Битяговского писала в поданной царю челобитной: «в великие говенья царевича изымал в комнате (то-есть, во дворце) тот же недуг, и он, государь, мать свою царицу тогды сваею поколол; а того, государь, многижды бывало: как его станет бити тот недуг и станут его держати Ондрей Нагой и кормилица и боярыни, и он, государь, им руки кусал, или за что ухватит зубом, то от'ест». Тяжелая наследственность исказила здоровье ребенка, и царевич с его бесноватыми припадками представлялся современникам своего рода извергом, похожим на отца по душевному строю, по жажде крови, насилия и зла.

Такова была обстановка и условия Угличских событий в мае 1591 года. Драма началась в полдень 15 мая, когда «царевич ходил на заднем дворе и тешился с робяты, играл через черту ножем». На этом «заднем», то-есть внутреннем дворе дворцовой усадьбы он и получил смертельное поранение. Чтобы усвоить топографию Угличского «города» или кремля, надобно ознакомиться с прилагаемым чертежом, составленным по данным XVII века. В «город», расположенный на берегу Волги, и окруженный стеною, вело двое ворот, Спасские и Никольские. Противоположный им глухой угол города был занят дворцом, усадьба которого простиралась до собора «Спаса Преображения». Пространство, находившееся в остром глухом углу города у Наугольной Флоровской башни, было «задним двором» дворца. Церкви, «что на крови», были поставлены на месте, где случилось несчастье с царевичем и пролилась его кровь. Таким образом устанавливается точно, что в минуту катастрофы царевич был далеко от общения с посторонними людьми. Они бывали лишь в противоположной половине «города», ибо входили в ворота, близкие к «торгу» и «посаду», и, конечно, не могли проникнуть через дворец на его внутренний двор. В обеденные часы 15 мая, когда тянулся

обычный для того времени перерыв служебных занятий, и всякого рода приказные люди, от главного дьяка Михаила Битяговского до последнего «россыльщика», разошлись из города из «дьячьей избы» на посад по «подворьям»,—в городе раздался набат и во дворце поднялась тревога. Со двора «вверх», то-есть во дворец, прибежал мальчик «жилец» (придворный) Петрушка Колобов и сообщил, что



Цифры показываютъ длину стѣны въ саженяхъ: одне изъ нихъ — по описи 1665 г., другія по описи 1674—1676 г. Отчего произошла разница, опредѣлить нельзя

царевич покололся ножом. По показаниям Колобова и его товарищей, таких же мальчиков («жильцов робят»), в минуту несчастья «были за царевичем только они, четыре человека жильцов, да кормилица да постельница», а посторонних не было никого. Однако мать царевича, прибежав на двор, сразу обвинила мамку царевича (старшую в его штате) Василису Волохову и начала ее бить, крича, что ее сын да сын дьяка Битяговского «зарезали» царевича. По набатному звону в город с посада сбежался народ: «многие посадские и слободские и посошные люди и с

судов (на Волге) казаки (рабочие) с топоры и с рогатинами и с кольем». Версия царицы, будто ее сын зарезан московским дьяком и его сыном с их приятелями, была легко воспринята толпой. Особенно же возбуждал толпу брат царицы Михайло Нагой, всегдашний враг Битяговского, на этот раз оказавшийся пьяным после обеда на своем подворье. Под влиянием царицыных криков и Михайловых речей в Угличе начался погром. Толпа гонялась за Битяговским и его семьей и за другими заподозренными виновниками смерти царевича. Битяговский, прибежавший во дворец, пытался спрятаться в одном из строений дворцовой усадьбы, в «брусяной избе», но толпа его достала: «двери у избушки высекли да выволокли Михаила Битяговского да Данила Третьякова да тут их убили до смерти». Сына мамки царевича, Осипа Волохова, долго били и мучили, наконец, привели его «к церкви к Спасу перед царицу только чуть жива и тут его перед царицею прибили до смерти». Сына Битяговского убили «в дьячье избе» (его во дворце не было); а его мать и сестер взяли в их дому, «на подворьишке»; «ободрав», «поволокли их на двор», то-есть ко дворцу, и «хотели их побити же». От смерти их избавило только вмешательство духовенства; но они все-таки были посажены, как и мамка Василиса, «за сторожи». Двор Битяговских и все их имущество было ограблено «без остатку». «На Михайлов двор Битяговского (говорил один свидетель) пошли все люди миром и Михайлов двор разграбили и питье из погреба в бочках выпив и бочки кололи; да с Михайлова же двора взяли Михайловых лошадей девятеро». Разгромили также и «дьячью избу»—канцелярию, где сидел за делами Битяговский: «у дьячьи избы сени и двери разломаны и окна выбиты». Подьячий Третьячко о себе показывал: «и я, Третьячко, вшол в избу, ажно коробейка моя розломана, а вынято из нее государевых денег 20 рублев, что были приготовлены на царицын и на царевичев расход». Третьячку и другим подьячим угличане погрозили, что им «то же будет», что и Битяговским, и они «с того страху разбежались розно и в город ходити не смели». С такого же страху убежали из Углича и некоторые посадские люди, «а за ними гонило человек 20 посадских для того, что они были прихожи к Михаилу Битяговскому»; беглецы несколько дней «ходили по лесу, а в город итти не смели». Непричастные к погрому посадские угличане свидетельствовали, что «все миром побивали»: город весь

встал на тех, кого сочли виновником несчастья, и в стихийном озлоблении губил заведомо невинных людей, даже таких, которых не коснулись истерические обвинения царицы Марьи и хмельная злоба ее брата Михаила Нагого. К такому результату привело несчастье, случившееся с царевичем!

Следственное дело дает нам понять, в каком виде предстала Угличская драма перед судом Московского правительства. Следователи в своем «обыске» официально установили, что царевич сам в припадке болезни «поколол» себя в горло ножом; его мать в отчаянии взвела ложное обвинение в убийстве на нескольких лиц; ее брат Михаил поднял толпу на этих лиц; толпа учинила «всем миром» целый погром, убив более десятка подозреваемых людей и ограбив частное добро и казенное имущество. Угличский «обыск» прежде всего был доложен в Москве патриаршему совету, «собору», от которого на следствие в Углич был послан митрополит Геласий. Собор дал свое заключение в том смысле, что «царевичу Димитрию смерть учинилася божьим судом» и что Нагие виноваты в «великом изменном деле»: «николи не было» такого лихого дела и таких убийств и кровопролитья, какие «сстались от Михаила от Нагого и от мужиков». Собор поэтому передавал «то дело земское градцкое» целиком на государеву волю: «все в его царской руке: и казнь, и опала, и милость». Государь приказал боярам Угличское дело «вершити», то-есть произвести надлежащее расследование и суд. К сожалению, документы, сюда относящиеся, не уцелели, и мы только из частных сообщений знаем, что погромщиков постигло суровое наказание. Летописец, представляющий судебную кару, как личную месть Бориса за гибель его сообщников, сообщает, что он царицу Марью велел постричь в монахини и сослать «в пусто место за Белоозеро», а Нагих всех разослал по городам по темницам; угличан же «иных казняху, иных языки резаху, иных по темницам рассылаху; множество же людей отведоша в Сибирь и поставиша град Пелым и ими насадиша: и оттого же Углич запустел». Легенда заявляла, что с людьми разделил ссылку даже угличский колокол, звонивший набат 15 мая и сосланный за то в Сибирь. Изложенные выше обстоятельства оправдывают необходимость суда и кары за Угличский погром. Состав следственного дела, безупречный с точки зрения палеографической, был правилен и юридически. В руки московских властей

он дал материал бесспорный для возбуждения преследования против Нагих и угличских «мужиков». Но этот материал, повидимому не обнародованный правительством для общего сведения, не мог, конечно, разубедить тех, кто поверил по слухам в насильственную смерть царевича и, приписывая убийство Битяговским, почитал, по правилу «cui prodest», первовиновником злодейства Бориса Годунова. На этом, например, стояли всю свою жизнь некоторые Нагие; так желали думать все вообще ненавистники Бориса; так шептала московская молва, подбиравшая всевозможные сплетни. Большой вероподобностью враждебных Борису толкований Угличской драмы об'яснялись их упорность и распространенность.

II.

Когда в 1606 году совершилась канонизация царевича Димитрия и для церковного обихода потребовалось его «житие», оно было составлено (думается, в Троице-Сергиевом монастыре) в форме весьма литературной. Так как биография маленького царевича не могла иметь никакого содержания (ибо царевич в сущности еще и не жил сознательной жизнью), то «житие» было построено не на биографическом материале. Оно раскрывало перед читателем гибельный рост властолюбия Бориса Годунова, которое толкало его от преступления к преступлению. Стремясь к власти и престолу, Борис губит Шуйских, потом царевича Димитрия, потом царя Федора. Избранный на престол собственным замыслом и ухищрением, он своими преступлениями вызывает на себя кару божию в виде самозванца. Как орудие божьего промысла, самозванец имеет успех и истребляет Бориса со всем его родом. Исполнив же свое назначение, он в свою очередь истреблен благочестивым царем Василием Шуйским, которого Господь сподобил открыть и водворить в Москве мощи праведного царевича. Трагедия Бориса, павшего якобы жертвою своей преступной страсти, впервые получила в этой «повести 1606 года» литературное выражение, а чудесное явление мощей царевича было в ней об'яснено, как награда свыше за неповинное страдание от властолюбца. Повесть однако не была принята в церковный оборот по обилию в ней политических вымадов и была для агиографического употребления сокращена и переделана. Но она дала схему и тон для

всех последующих «житий» царевича, составленных в XVII веке и в Петровское время (жития Тулуповское, Милютинское, св. Димитрия Ростовского). Все редакции следуют этой схеме, и ни одна не вносит в изложение чего-либо исторически ценного. С другой стороны «повесть 1606 года», понятая современниками, как историческая хроника московских событий, была усвоена хронографами и «летописщиками» и в их компилятивном тексте получила широкое распространение в письменности XVII века. На ее основе выросло даже совсем легендарное, по выражению Карамзина, «любопытное, хотя и сомнительное», сказание «о царстве царя Федора Ивановича», в котором судьба царевича изложена с совершенно невероятными, наивно-сказочными подробностями. Вся эта группа произведений, пошедшая от одного источника, имеет для историка цену только как литературный эпизод, любопытный не фактическими данными, а эволюцией сюжета и взглядами авторов.

От этой группы «житий» и сказаний в стороне стоят некоторые особые рассказы об убиении царевича. Например, в официальном «Новом летописце» XVII века есть подробное повествование об Угличских событиях, в литературном отношении самостоятельное. В одном из сборников знаменитого археографа П. М. Строева нашлось и еще одно особого рода повествование, повидимому XVIII столетия. Из них рассказ «Нового летописца», наиболее обстоятельный, доставил много труда критикам. Его почитали самым веским свидетельством против Годунова такие историки, как С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, арх. Филарет. Но доводы их встречали решительные возражения со стороны, например, Е. А. Белова и А. И. Тюменева, специально изучавших Угличское дело. Чем ближе подходит исследователь к общению со всей совокупностью текстов, относящихся к факту смерти царевича Димитрия, тем решительнее делается его отрицание данного памятника: «Рассказ Нового летописца», говорит А. И. Тюменев: «не выдерживает и той снисходительной критики, какую к нему применяет Соловьев. В самом рассказе мы встречаем много черт, которые именно заставляют нас заподозрить его. Ряд легендарных вставок и сказочных оборотов речи, ряд известий очень сомнительного свойства и заведомо ложных—все это никоим образом не позволяет видеть в авторе очевидца, современника или человека, писавшего

на основании современных источников». Действительно, Новый летописец был обработан только в 1630 году (лет через сорок по смерти царевича), и его рассказ об Угличской драме во многом уже принял вид эпически воспроизведенного предания. Состав его в основе напоминает «жития». Исходный пункт—в преступном властолюбии Бориса; оно ведет Бориса к ряду покушений на жизнь царевича: яд, много раз данный мальчику, не действует, ибо Бог не попускает тайной смерти царевича, «хотя его праведную душу и неповинную кровь об'явити всему миру»; люди, предназначенные для покушения на царевича, отказываются от преступления (Загрязский, Чепчугов, действительная роль которых историкам неизвестна вовсе). Находятся, наконец, исполнители замысла—окольничий Клешнин (один из следователей, посланных в 1591 году в Углич царем Федором), Битяговские, Качалов, Волоховы (жертвы Угличского погрома). Во время прогулки поранили царевича Качалов и двое молодых людей: сын мамки Волоховой и сын дьяка Битяговского; старшие же вдохновители убийства остались в стороне. Убийцы от страха отбежали с места преступления «дванадесять верст», но кровь праведного вопияла к Богу и «не попусти их»: они возвратились назад и вместе с прочими «союзниками» своими были побиты «камением». Затем последовало пристрастное и обманное следствие со стороны Бориса и гонение на родню царевича—Нагих. Таково содержание рассказа Нового летописца, безусловно подходящего к типу «житий» и родственных им сказаний. Оригинальнее повесть Строева. Она напоминает подробный дневник событий 15 мая 1591 года, описывает час за часом, что делал царевич в последний день своей жизни, и с протокольной точностью передает подробности покушения на него. На царевича напали, когда он был «противу церкви царя Константина», кормилицу «палицею ушибли», а царевичу «перерезали горло ножем». Однако ближайшее знакомство с построением и содержанием памятника заставляет сомневаться даже в том, чтобы его автор знал топографию города Углича (церкви царя Константина в «городе» писцовые книги не знают), а также и в том, чтобы он был современником события и чтобы текст его повести был старше 1606 года. Если дозволительно по догадке определить время составления этой повести, то известный нам текст ее носит на себе черты XVIII, а не XVII столетия.

Если исследователь останется в круге этих, характеризованных выше, произведений, не войдя в рассмотрение всей вообще московской письменности, посвященной Смутному времени, то он получит впечатление, что вера в преступность Бориса и насильственную смерть царевича Димитрия была всеобщей и непререкаемой у всех современников той эпохи. Однако такое впечатление было бы совершенно неправильным. Целый ряд наблюдений определенно говорит исследователю, что вопрос о виновности Бориса в смерти царевича оставался именно вопросом для многих современников события, несмотря на то, что и позднейшие правительства, и церковь, и литературные произведения, рассмотренные нами, громко и настойчиво заявляли о злодействе властолюбца Бориса. Совесть московских людей не всегда успокаивалась на официальных уверениях, и наиболее смелые и искренние писатели пытались так или иначе обойти не предписанные «циркуляром» или «декретом», но тем не менее вразумительные и властные требования московской цензуры. О том, как они это делали, автору настоящих строк пришлось уже писать в одном из своих трудов, именно, следующее [1]):

«Русские писатели XVII века в их отношениях к Борису представляют любопытнейший предмет для наблюдения. Они писали свои отзывы о Борисе уже тогда, когда в Архангельском московском соборе была «у правого столпа» поставлена рака с мощами царевича Димитрия и когда правительство Шуйского, дерзнув истолковать пути Промысла, об'явило, что царевич Димитрий стяжал нетление и дар чудес неповинным своим страданием именно потому, что принял заклание от лукавого раба своего Бориса Годунова. Власть об'являла Бориса святоубийцею, церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, от него принявшему смерть; мог ли рискнуть русский человек XVII века усомниться в том, что говорило «житие» царевича и что он слышал в чине службы новому чудотворцу? Современная нам ученая критика имеет возможность об'яснить происхождение позднейших житий царевича Димитрия из ранней «повести 1606 года»; она может проследить тот путь, каким политический памфлет постепенно претворялся в исторический источник для агиографических писаний; но

[1]) «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.», глава III, § II.

в XVII веке самый острый и отважный ум не был в состоянии отличить в житии святого достоверный факт от сомнительного предания. В наше время можно решиться на то, чтобы в деле перенесения мощей царевича Димитрия в Москву в мае 1606 года видеть две стороны: не только мирное церковное торжество, но и решительный политический маневр, и даже угадывать, что для Шуйского политическая сторона дела была важнее и драгоценнее. Но русские люди XVII века, если и понимали, что царь Василий играл святыней, все же не решались в своих произведениях ни отвергать его свидетельств, ни даже громко их обсуждать. Один дьяк Ив. Тимофеев осмелился прямо поставить пред своим читателем вопрос о виновности Бориса в смерти царевича, но и то лишь потому, что в конце концов убедился в вине Бориса и готов был доказывать его преступность. Он решался спорить с теми, кто не желал верить вине Бориса; «где суть иже некогда глаголющии, яко неповинна суща Бориса закланию царского детища?» спрашивает он, принимаясь собирать улики на Годунова. Но Тимофеев—исключение среди пишущей братии его времени: он всех откровеннее, он простодушно смел, искренен и словоохотлив. Все прочие умеют сдержать свою речь настолько, что ее смысл становится едва уловимым; они предпочитают молчать, чем сказать неосторожное слово. Тем знаменательнее и важнее для историка две особенности в изложении дел Бориса независимыми и самостоятельными русскими писателями XVII века. Если исключим из их числа таких односторонних авторов, как панегирист Бориса патриарх Иов и панегирист Шуйских автор «повести 1606 года», то сделаем над прочими такое наблюдение: во-первых, они все неохотно и очень осторожно говорят об участии Бориса в умерщвлении царевича Димитрия, а во-вторых, они все славят Бориса, как человека и правителя. Характеристика Бориса у них строится обыкновенно на красивой антитезе добродетелей Бориса, созидающих счастье и покой Русской земли, и его роковой страсти властолюбия, обращающей погибель на главу его и его ближних. Вот несколько тому примеров. В хронографе 1616—1617 года, автор которого, к сожалению безвестный, оставил нам хорошие образчики исторической наблюдательности и литературного искусства, мы читаем о смерти царевича одну только фразу, что он убиен «от Митьки Качалова да от Данилки Битяговского; мнози же

глаголаху, якоже убиен благоверный царевич Дмитрий Иванович Углецкой повелением московского боярина Бориса Годунова». Далее следует риторическое обращение ко «злому сластолюбию власти», которое ведет людей в пагубу; а в следующей главе дается самая благосклонная оценка Борису, как человеку и деятелю. Упокоив и устроив свое царство, этот государь, «естеством светлодушен и нравом милостив», цвел «аки финик листвием добродетели». Он мог бы уподобиться древним царям, сиявшим во благочестии, «аще бы не терние завистные злобы цвет добродетели того помрачи». Указывая на эту пагубную слабость Бориса, автор сейчас же замечает: «но убо да никтоже похвалится чист быти от сети неприязненного злокозньствия врага», то-есть, диавола. Итак, об участии Бориса в Углицком убийстве автор упоминает с оговоркою, что это лишь распространенный слух, а не твердый факт. Не решаясь его отвергнуть, он однако относится к Борису, как к жертве «врага», который одолел его «злым сластолюбием власти». Гораздо больше, чем вине Годунова в смерти царевича, верит автор тем «хитростройным пронырствам», с помощью которых Борис отстранил Романовых от престола в 1598 году. Эти пронырства он скорее всего и разумеет, говоря о «завистной злобе» Годунова. В остальном же Борис для него—герой добродетели. С жалостливым сочувствием к Борису говорит он особенно о том, как внезапно была низложена врагами «добродетущая красота его царства». Знаменитый Авраамий Палицын не менее осторожен в отзывах о роли Бориса в Углицком деле. По его словам, маленький царевич говорил и действовал «нелепо» в отношении московских бояр и особенно Бориса. Находились люди, «великим бедам замышленницы», которые переносили все это, десятерицею прилыгая, вельможам и Борису. Эти-то враги и ласкатели «от многие смуты ко греху сего низводят, его же, краснейшего юношу, отсылают и не хотяща в вечный покой». Итак, не в Борисе видит Палицын начало греха, а в тех, кто Бориса смутил. Ничего больше келарь не решается сказать об Углицком деле, хотя и не принадлежит к безусловным поклонникам Годунова. Следуя основной своей задаче—обличить те грехи московского общества, за которые Бог покарал его Смутою,—Палицын обличает и Бориса, но Углицкое дело вовсе не играет роли в этих обличениях. Обрушиваясь на Бориса за его гордыню, подозри-

тельность, насилие, за его неуважение к старым обычаям и непочтение к святыне, Палицын вовсе забывает о смерти маленького царевича и, говоря «о начале беды во всей России», утверждает, что беда началась как возмездие за преследование Романовых: «яко сих ради Никитичев-Юрьевых и за всего мира безумное молчание еже о истинне к царю». И в то же время, как далеко ни увлекает писателя его личное нерасположение к Годунову, умный келарь не скрывает от своих читателей, что Борис умел сначала снискать народную любовь своим добрым правлением—«ради строений всенародных всем любезен бысть». Кн. И. А. Хворостинин, так же как и Палицын, холоден к Борису, но и он, называя Годунова лукавым и властолюбивым, в то же время слагает ему витиеватый панегирик; на убиение же Димитрия он дает читателю лишь темнейший намек, мимоходом, при описании перенесения праха Бориса из Кремля в Варсонофьев монастырь. Высоко стоявший в московском придворном кругу князь И. М. Катырев-Ростовский доводился шурином царю Михаилу и уже потому был обязан к особой осмотрительности в своих литературных отзывах. Он повторил в своей «повести» официальную версию о заклании царевича «тайбиками» Бориса Годунова, но это не стеснило его в изложении самых восторженных похвал Борису. Ни у кого не найдем мы такой обстоятельной характеристики добродетелей Годунова, такой открытой похвалы его уму и даже наружности, как у князя Катырева. Для него и сам Борис—«муж зело чуден», и дети его, Федор и Ксения,—чудные отрочата. Симпатии Катырева к погибшей семье Годуновых принимают какой-то восторженный оттенок. И сами официальные летописцы XVII века, поместившие в Новый летописец пространное сказание о убиении царевича по повелению Бориса, указали в дальнейшем рассказе о воцарении Годунова на то, что Борис был избран всем миром за его «праведное и крепкое правление» и «людем ласку великую». Так во всех произведениях литературы XVII века, посвященных изображению Смуты и не принадлежащих к агиографическому кругу повествований, личность Бориса получает оценку независимо от Углицкого дела, которое или замалчивается, или осторожно обходится. Что это дело глубоко и мучительно затрогивало сознание русских людей Смутной поры, что роль Бориса в этом деле и его трагическая судьба действительно волновали

умы и сердца,—это ясно из «Временника» Ив. Тимофеева. Тимофеев мучится сомнениями и бьется в тех противоречиях, в которые повергают его толки, ходившие о Борисе. С одной стороны, он слышит обвинения в злодействах, насилиях, лукавстве и властолюбивых кознях; с другой—он сам видит и знает дела Бориса и сам чувствует, что одним необходимо надо сочувствовать, а другие должно осудить. Он верит в то, что нетление и чудеса нового угодника Димитрия—небесная награда за неповинное страдание, но он понимает и то, что подозреваемый в злодействе «рабоцарь» Борис одарен высоким умом и явил много «благодеяний к мирови». Как ни старается Тимофеев разрешить свои недоумения, в конце концов он сознается, что не успел разгадать Бориса и понять, «откуду се ему доброе прибысть». «В часе же смерти его,—заключает он свою речь о Борисе,—никтоже весть, что воз'одоле и кая страна мерила претягну дел его: благая, ли злая»...

После всех подобных наблюдений можно ли утверждать, что для общества того времени преступность Бориса бесспорна и что Угличское дело для его современников не представляло такого же темного и сомнительного казуса, какой оно представляет для нас? Канонизация Димитрия, совершенная в 1606 году, превратила этот казус в неподлежащий спору факт; но до обретения мощей царевича отношение к его праху и к его памяти со стороны правительства и народа было таково, что вовсе не давало повода предугадывать дальнейшее почитание и славословие. Царевич Димитрий не возбуждал к себе особого внимания и расположения, и смерть его повидимому прошла без заметнаго шума и движения в обычном обиходе московской жизни. Надо помнить, что прижитый от шестой или седьмой жены (когда церковь не венчала и третьего брака), Димитрий не мог почитаться вполне законным: „он не от законной, седьмой жены“, говорилось в официальных разговорах московских и польских послов. С такой, вероятно, точки зрения Димитрий не всегда даже назывался „царевичем“. Любопытна в этом отношении одна запись в «келарском обиходнике» Кириллова монастыря, составленном в царствование Бориса Годунова. Обиходник перечислял „кормы“, которые ставились монастырской братии в память и поминовение разных событий и лиц. Под 26 октября там записан „по князе Димитрее Иваповиче Углицком корм с поставца“: этот князь—сын Ивана III Васильевича,

по прозвищу «Жилка» (умер в 1521 году). А под 15 мая (день смерти царевича) значилось: «по князе Димитрее Ивановиче по Углецком последнем корм с поставца». Под этим «последним Угличским» разумеется Димитрий царевич, царевичем однако не названный. Когда же совершилась канонизация Димитрия, эту запись «обиходника» заклеили бумажкой и на заклейке написали: «того же месяца в 15 день, на память благоверного царевича князя Димитрия Углецкого, Московского и всея Руси чюдотворца, праздничный корм с поставца». Так изменилась формула обозначения, обратившая «князя» в «царевича». Похороны царевича совершились тотчас по «обыске» следственной комиссии в Угличе; прах его не сочли необходимым отвезти в Москву к «гробам родителей» в Архангельском соборе, как возили встарину князей, умерших вне Москвы. Тот, например, Димитрий Иванович «Жилка», о котором упомянуто в Кирилловском «обиходнике», скончался в Угличе, но был похоронен в «Архангеле» в Москве подле гроба Димитрия Донского. Другой князь Дмитрий, прозвищем «Красный», брат Димитрия Шемяки, умерший в Галиче, был также перевезен в Москву (1441 г.), и летописец рассказывает много любопытного о подробностях его кончины и о трудностях перенесения его тела, которое «дважды с носилиц срониша». Не было, казалось, никакого препятствия положить «Угличского последнего» князя-царевича в Московском Архангельском соборе; но этой чести ему не оказали. По слову летописца, царевича Димитрия «погребоша в соборной церкви Преображения Спасова» в Угличе. При этом угличане и самую могилу его вскоре позабыли. Родные царевича, высланные из Углича, разумеется, не имели возможности заботиться о ней, а царь Федор не видел в том надобности. Существует любопытнейшее свидетельство, что в 1606 году жители Углича не могли указать место погребения царевича духовенству, присланному из Москвы за его телом. Всем городом искали могилу (не совсем ясно, внутри или вне Преображенского собора) и «долго не обрели и молебны пели и по молебны само явилось тело: кабы дымок из стороны рва копанова показался благовонен, тут скоро обрели». Устранив с этого известия агиографический налет, получим бесспорный факт—заброшенной, даже потерянной могилы. Что мешало местным почитателям памяти царевича, если таковые были, чтить его могилу? Страх Бори-

совых гонений мог подавить желание украсить последнее убежище опального царевича, но помнить место его упокоения никто не мог запретить. Современники события 1591 года отметили, что царь Федор не был на погребении брата в Угличе, хотя и посетил в те дни, на праздник Троицы (23 мая), Троице-Сергиев монастырь. Они об'ясняли это хитростью Бориса, который будто бы зажег Москву, чтобы отвлечь от поездки в Углич. Однако, московские пожары 1591 года произошли не в мае, а в июне, и потому не могли стать помехой для царской поездки в Углич, где царевича схоронили, вероятно, еще до Троицына дня. Отсутствие царя Федора надо об'яснять иначе. Царь вообще мог ездить и повидимому любил поездки. Кроме обычных «ближних походов» кругом Москвы, он совершил, например, зимний поход под Нарву, где участвовал в военных действиях (1590 г.). В 1592 году весною он об'ехал монастыри в Можайске, Боровске и Звенигороде. Через три года он опять был в Боровске. Но в Углич царь Федор не собрался ни разу: ни на погребение брата, ни на большое церковное торжество открытия мощей князя Романа Угличского (1595 г.). Причина этого не в физической слабости Федора; если она не случайна, то она кроется, всего вернее, в том, что Углич почитался тогда «уделом», местом выделенным из государственной территории и чужим; а любовь к брату Димитрию у царя Федора не была столь велика, чтобы подвинуть царя посетить «удел» и почтить своим присутствием похороны царевича, смерть которого вызвала в этом уделе погром и кровопролитие. Ко всему сказанному надобно прибавить и еще одну любопытную и знаменательную частность, отмеченную польскими дипломатами того времени. Они указывали московским людям при переговорах с ними в 1608 году, что время и обстоятельства кончины царевича Димитрия были в Московском государстве основательно призабыты и что, когда московским воеводам пришлось обличать выдумки самозванца, они явно путались и ошибались. Так, Черниговский воевода в 1603 или 1604 году писал Остерскому старосте, что царевич закололся в Угличе в 1588 году, «шестнадцать лет тому назад», тогда как это было в 1591 году, тринадцать лет назад; и погребен царевич, по сообщению воеводы, был «в церкви соборной Пречистые Богородицы», а поляки знали, что в Угличе такой церкви нет, а есть соборная церковь «Святого Спаса». Приведя и другие ошибки в

том же роде, поляки справедливо полагали, что в них были повинны не сами воеводы, а московские их начальники, присылавшие им неверныя сведения из Москвы, «учинил такое незгодное порозненье Борис, господар ваш, и его дьяки», говорили они.

III.

Итак, «последний Угличский» удельный князь, рожденный «не от законной, седьмой жены», не удостоенный погребения с своими царскими «светлыми родителями» в их московской усыпальнице, забытый в своей заброшенной могиле,—таков царевич Димитрий до своей канонизации, по свидетельству современных ему документов. Но смерть царевича, не возбудившая особого интереса в московской массе, оказалась роковым для Бориса обстоятельством, потому что давала ненавистникам Бориса удобный мотив для правдоподобного клеветнического обвинения его в покушении на царевича. Бориса обвиняли во многом: в покушении на жизнь Грозного, в умерщвлении Шуйских, в поджоге Москвы, позднее—в смерти Федора и Ирины и во многом другом. Но все подобные обвинения казались произвольными и маловероятными; а смерть Димитрия от ножевого удара, с пролитием крови и с громким обвинением против правительственного агента Битяговского, убитого якобы за его злодейство,—действительно создавала почву для подозрений против его начальника и вдохновителя Бориса. Ясным казался и мотив преступления—«ненасытное властолюбие» и жажда престола. В лице Димитрия устранялся последний представитель выродившейся царской семьи и наступал конец династии. Кому же могло быть это желательно более, чем Борису? Кто мог более Бориса мечтать о наследовании престола? Кто был ближе к сану царскому, чем правитель царства, державший в руке своей фактическую власть?

Такого рода размышления и рассуждения могли рождать уверенность в преступности Бориса в людях прямолинейных, не склонных учитывать все частности обстановки, или же не знавших этих частностей. Позднейший исследователь, если вдумается в обстоятельства тех лет, непременно эти частности учтет. Он придаст значение тому, что царица Ирина в момент смерти царевича Димитрия еще

не потеряла надежды иметь детей и что надеждой на царское чадородие утешались и все ее близкие. И Борис, разумеется, понимал, что смерть сомнительного по степени законности государева брата отнюдь не составит решительной утраты для династии, если только у Федора и Ирины родится дитя. В 1591 году убить Димитрия еще не значило доконать династию. Действительно, в мае 1592 года у царской четы родилась дочь царевна Феодосия, «Богом данная», и в Москве окрепла было надежда, что царский корень процветет через эту новую «благородную отрасль». Как ни мала была царевна, Борис официально говорил, что она ему «и государыня и племянница». Если позднее в Москве возникло намерение искать заграничных женихов для царевны Ксении Годуновой, то и в отношении царевны Феодосии могла родиться та же мысль сочетать ее в будущем с иностранным принцем и этим обеспечить Москве династическое преемство. Как близорук был бы Борис, еслибы он счел своевременным покушение на Димитрия в такой обстановке! Рассчет на возможность потомства в царской семье, конечно, у него был. Но как тонкий политик, он повидимому знал, что надобно было делать ему и его сестре, царице Ирине, чтобы обеспечить за собою власть даже и в отсутствии желаемого потомства. Очень знаменательна одна особенность тогдашнего дворцового «чина». Царица Ирина Федоровна—впервые в московском государственном быту—была при муже формально введена в сферу управления, как первосоветница своего супруга, «избывавшего мирской докуки», и наравне с боярами принимала участие в обсуждении государственных дел. Не только дворцовые и «мирские» дела, но даже и церковные не миновали ее участия и совета. Даже знаменитое решение московского правительства посадить грека патриарха Иеремию «в начальном месте в Володимире», а не в Москве, состоялось с участием царицы: царь Федор «помысля с своею благоверною и христолюбивою царицею и великою княгинею Ириною, говорил с бояры» об этом важнейшем деле. Такою практикою постепенно подготовлялось то, что последовало при кончине царя Федора,—передача царства царице Ирине. Если бы царевич Димитрий оставался в живых, его право на наследование престола было бы оспорено Ириною, и законная супруга, советница и соправительница государя, разумеется, имела бы более шансов встать у власти, чем

прпадочный царевич, прижитый не в законном браке. Московское воззрение на внезаконных детей, выраженное в Уложении 1649 года (X, 280), было презрительно и сурово, и царевич, надо думать, нашел бы у своих противников соответствующую квалификацию. Отметим и еще одну любопытную частность в поведении Бориса. Пока вопрос о царском чадородии не стал безнадежным, Борис ничем не обнаруживал своих династических поползновений. Когда же умерла царевна Феодосия, и физический упадок царя отсекал надежду на чадородие не царицы, а уже «изнемогавшего» родителя, тогда Борис стал официально ставить рядом с собою, правителем царства, своего сына Феодора. В церемониях при дворе Бориса и в письменных сношениях правителя Федор Борисович является действующим лицом: принимает послов, шлет подарки от себя владетельным особам, «пишется» в граматах рядом с отцом. Такое привлечение сына в сферу политических сношений и действий свидетельствует о тонкой предусмотрительности Бориса: в своем сыне он постепенно готовил преемника его положения и власти. Но это выступление Федора Борисовича относится ко времени не ранее 1594—1595 годов ибо ранее оно было бы бесцельно и неосторожно. Обстоятельства в Москве складывались так, что до этого времени не только сыну Бориса, но и самому царевичу Димитрию нельзя было бы надеяться на верное получение престолонаследства. На дороге стояли женщины—жена и дочь царя. По смерти дочери оставалась жена, и только в чаянии, что она не будет помехою и противницею своему племени—брату и племяннику, брат ее Борис начал «являть» своего сына и царицына племянника Московскому царству и дружественным правительствам.

Соображая все эти обстоятельства, можно понять, что они были на деле гораздо сложнее, чем представлялись площадным и келейным клеветникам, взводившим на Бориса одно обвинение за другим. В толпе легко было распространить всякий мало-мальски вероподобный слух, ибо толпа во все времена, по старому слову, «слуховерствовательна» и «небыстрораспрозрительна» на правду и ложь. Историческое же исследование в том и полагает свою цель, чтобы освободиться от всякой тенденции и пристрастия, каким бы подобием истины они ни были прикрыты. С этой точки зрения историк не имеет ни малейшего права пред'являть

памяти Бориса обвинение, лишенное об'ективных доказательств и исторического смысла.

IV.

В начале 1598 года московская династия пресеклась. Января 7-го, под утро, «угасе свеща страны Руския, померче свет православия»: царь Федор «приемлет нашествие облака смертного, оставляет царство временное и отходит в жизнь вечную». В таких словах изложил хронограф свою грусть по благородивом царе. Патриаршая повесть о житии царя Федора, описав риторически последние часы бездетного монарха, официально сообщает, что царь скончался, «по себе вручив скипетр благозаконной супруге своей благоверной царице и великой княгине Ирине Федоровне всея Русии». «Изрядный же правитель прежереченный Борис Федорович вскоре повеле своему царскому сиклиту животворящий крест целовати и обет свой благочестивой царице предавати, елико довлеет пречестному их царскому величеству». Присяга бояр Ирине была принесена в присутствии патриарха Иова с его советом: «бе же у крестного целования сам святейший патриарх и весь освященный собор».

Таким образом совершилось воцарение Ирины. Страна признала молчаливо ее власть. В Москве и других городах на ектениях воссылали моления за царицу Ирину. Ее именем шли повеления и распоряжения из столицы; на имя царицы Ирины (а затем по ее пострижении на имя иноки царицы Александры) поступали донесения с мест. Словом, Ирина царствовала, и еслибы она осталась на престоле и нашла возможным и пристойным выйти замуж, ее муж разделил бы с нею власть и, быть может, положил начало новой династии. Однако Ирина о замужестве не помышляла. Скорбя о том, что ею единою «царский корень конец прият», она немедля после царского погребения решилась оставить мир и уйти в монастырь. Кроме этой, так сказать, гласной причины можно уловить намек и на другую причину—болезненность Ирины, рано сведшую ее в могилу (1603 г.): царица едва ли не страдала чахоткой и горловым кровоизлиянием. Уход царицы в монастырь и отречение ее от власти, временно переданной в руки патриарха, оставили Москву «безгосударной» и создали в

ней междуцарствие. Попытки упросить иноку Александру остаться «на государстве в содержании скифетра великих государств Российского царствия» успеха не имели, хотя патриарх и просил ее только зваться государыней, а «правити велеть» брату Борису. Не имели успеха и прямые просьбы к Ирине, чтобы она «в свое место благословила» стать государем Бориса: ни царица, ни Борис не согласились на такое простое воцарение Бориса по «благословению» царицы. По официальному изложению, такого рода просьбы шли от патриарха, духовенства, боярства и всего народа. По частным же сведениям, после отречения Ирины в среде боярства возникла будто-бы мысль до государева избрания создать временное правительство из боярской думы, не призывая к власти бывшего правителя Бориса. Но когда дьяк Василий Щелкалов обратился с этим к народу, толпившемуся в Кремле, народ будто-бы отказался присягнуть думе и твердил, что он уже присягнул царице; раздавались при этом голоса, желавшие немедленного воцарения Бориса. Так как Борис не соглашался взять престол без формального избрания, то дело отложили до «сорочин» по царе Федоре (до сорокового дня по кончине), и патриарх остался во главе правительственной среды.

«Сорочины» приходились на 15 февраля 1598 года. Официальный акт об избрании Бориса («утвержденная грамота») сообщает, что именно патриарх руководил всем ходом царского избрания. Он указал ждать «дондеже исполнится четыредесятница блаженные памяти» усопшего царя; он в ожидании сорочин «послал» по иерархов и «весь освященный собор», по служилых «государских детей розных великих государств», по бояр и прочих людей, «еже на великих соборех бывают»; он в то же время заповедал или «приказал» тем людям «которые на Москве», чтобы они «помыслили себе все обще, кому у них государем быти». Таким образом патриарх подготовил созвание земского собора для избрания царя к самому дню сорочин и тотчас же после этого дня открыл собор, «велел у себя быти на соборе» всем «вкупе сошедшимся в царствующий град Москву». Такая первенствующая роль патриарха смущала некоторых историков: «по какому праву патриарх присвоил себе власть созывать земский собор, мы не знаем», писал И. Д. Беляев: «права этого ему никто не давал». Но документы тех недель, когда патриарх Иов был во главе временного правительства, говорят определенно,

что власть ему передана была Ириною: «по царицыну указу» бояре должны были «сказывать» дела патриарху, а патриарх—делать по ним распоряжения. Попытка бояр перевести полномочия на себя и взять присягу думе, как было сказано, не удалась, и потому «начальный человек» Иов патриарх совершенно правильно почитал себя главою и распорядителем.

Состав земского собора, которому «приказано» было быть у патриарха 17-го февраля, также вызывал недоумение со стороны исследователей. Собор считали подтасованным, по составу его, в пользу Бориса Годунова. «Собор 1598 года (говорит И. Д. Беляев) носил только форму земского собора, на самом же деле был прикрытием происков известной партии, составившейся в пользу Годунова». Вместо правильного представительного собрания устроили его подобие, разыграли «комедию». Такой взгляд на дело господствовал в ученой литературе до замечательного труда В. О. Ключевского «Состав представительства на земских соборах древней Руси». Вместо общей голословной оценки состава избирателей 1598 года Ключевский дал детальное обследование списка членов земского собора. В «утвержденной грамоте» Бориса такой список повторен дважды. Сначала в тексте грамоты систематически, начиная с духовенства, поименованы все, кто «на соборе были с первопрестольнейшим пресвятейшим Иовом патриархом», а затем, после текста, «назади» приведены подписи участников собора, скрепивших своим рукоприкладством акт избрания Бориса. В тексте—457 имен, «назади»—472 подписи. «Разница между обоими перечнями та (говорит Ключевский), что в каждом из них есть имена, которых нет в другом: в списке присутствовавших на соборе при избрании царя значится много лиц, которые не оставили своих подписей на грамоте; за то подписалось не мало таких лиц, которые не поименованы в перечне избирателей». Если посчитать имена не только означенные в обоих списках, но и попавшие лишь в один из них, то получим, по счету Ключевского, 512 лиц, причастных к царскому избранию 1598 года. О всех этих лицах порознь В. О. Ключевский постарался собрать справки и пришел к любопытному и ценному заключению, что состав собора был совершенно нормален и соответствовал правильному для XVI века представлению о порядке представительства. В Москве оно тогда устраивалось своеобразно: члены собора

шли на собор по приглашению правительства, а не по полномочию избирателей. Они избирались властью, которая сама определяла, кто может представительствовать за ту или иную среду. Так московские дворяне «не были выборными представителями уездных дворянских обществ на соборе, но представляли их по своему должностному положению, как их военные предводители, назначенные правительством из землевладельцев тех же уездов». При таком условии территориальная полнота представительства достигалась без привлечения выборных людей с мест, и не казалось нужным звать представителей изо всех городов, чтобы услышать голос всей страны. В определении же того, кого надлежит включить в состав собора, в 1598 году следовали тем же правилам, как и ранее, например, в 1566 году; и потому собор 1598 года по строю своему и составу должен считаться совершенно обычным и правильным. На нем присутствовало: духовенства до 100 человек; бояр и думных людей около 50; служилых людей: дьяков до 30, дворян и детей боярских до 270; людей тяглых, торгово-промышленных—36. «Таким образом (заключает В. О. Ключевский) в составе собора 1598 года можно явственно различить те же четыре группы членов, какие обозначались и на прежнем соборе и которые представляли собою: церковное управление, высшее управление государственное, военно-служилый класс и класс торгово-промышленный». С формальной стороны дело обстояло безупречно: собор был законен и правилен; патриарх, его руководитель, действовал по полномочию государыни царицы. Ни о какой «комедии» в отношении собора не может быть и речи. Если и шла какая либо агитация в пользу Бориса (а она, конечно, шла), то состава собора она не исказила. «Подстроен был ход дела, а не состав собора», замечает В. О. Ключевский: «план сторонников Годунова состоял не в том, чтобы обеспечить его избрание на царство подтасованным составом собора, а в том, чтобы вынудить правильно составленный собор уступить народному движению».

V.

По изложению утвержденной грамоты ход избрания Бориса был таков. В пятницу, 17-го февраля, собор имел первое торжественное заседание под председательством Иова:

этому заседанию, по прямому смыслу грамоты, предшествовали частные собрания людей, «которые на Москве», и в этих собраниях, по приглашению патриарха, они уже «мыслили себе все обще, кому у них государем быти». Торжественное заседание Иов открыл витиеватою речью прямо в пользу избрания Бориса. Он указал на то, что в предварительных совещаниях «у всех православных христиан, которые были на Москве», и у него самого была та мысль и совет тот, чтобы «иного государя никого не искати и не хотети», кроме Бориса. Все собрание—как люди, которые «были на Москве», так и люди, которые «приехали из дальних городов в царствующий град Москву»,—без прений присоединились к мысли патриарха и постановили избрать в цари Бориса. Ясно, стало быть, что заседание 17-го февраля только санкционировало назревшее ранее решение. Совершив таким способом избрание, решили собраться в субботу, 18-го февраля, в Успенском соборе для торжественного молебна. А в субботу согласились назначить на понедельник, 20 февраля, торжественное шествие всего собора в Новодевичий монастырь для того, чтобы испросить согласие царицы Ирины-Александры на избрание Бориса и согласие самого Бориса на принятие престола. Однако 20-го февраля ни царица, ни Борис не согласились. Патриарх в тот же день созвал заседание собора для обсуждения дальнейших мер прошения и понуждения Бориса. Гласно постановили идти на следующий день в Новодевичий монастырь с крестным ходом—пред святынями молить Бориса взять царство. Негласно патриарх с духовенством условились принять против Бориса меры понуждения в такой последовательности: сперва разрешить Бориса от неосторожной клятвы, «что он государь под клятвою со слезами говорил», что у него «желанья и хотенья на государство нет»; если это не подействует, то «государя Бориса Федоровича запретить», то-есть отлучить от церкви; наконец, еслибы и это не возымело силы, то оставить в Новодевичьем монастыре все принесенные туда святыни, прекратить везде богослужение и требы, а последствия этого общего интердикта возложить на души Ирины и Бориса. Таким угрозам никто не мог противостоять. Когда крестный ход с величайшими святынями столицы и с громадною толпою ее жителей 21-го февраля принес Борису общую просьбу принять государство, а вместе с нею и угрозу отлучить от церкви, Борис согла-

сился, ибо не имел возможности долее отказываться. В прощеное воскресенье, 26-го февраля, он впервые в царском сане побывал в Москве: но с венчанием своим на царство он помедлил до 1-го сентября.

Таково правительственное изложение обстоятельств избрания Бориса. Частные сообщения русских и иностранных современников этого избрания представляют дело иначе. Русские летописцы немногословны, за исключением «повести 1606 года». «Новый летописец» кратко и сдержанно передает ход дела близко к утвержденной грамоте, но без сочувствия к Борису; он знает о соборе в Москве, говоря, что «ото всех градов и весей сбираху людей и посылаху к Москве на избрание царское»; он признает, что патриарх и духовенство «со всею землею советовав» единодушно избрали в цари Бориса, «видяще его при царе Федоре Ивановиче праведное и крепкое правление к земле, показавша людем ласку великую». Ход избрания и прошения Бориса летописец передает согласно с грамотой. Но при этом он многознаменательно говорит, что «князи же Шуйские едины его (Бориса) не хотяху на царство: узнаху его, что быти от него людем и к себе гонению; они же от него потом многие беды и скорби и тесноты приняша». Есть основание думать, что в данной фразе летописец заменил именем «князей Шуйских» более сюда подходящее имя «Романовых»: последние много терпели от Годунова, а Шуйские не потерпели ничего. Тем не менее и Романовы и Шуйские одинаково далеки были от желания видеть царем Бориса. Автор «повести 1606 года», явный сторонник Шуйских и ненавистник Бориса, в своей повести собрал, кажется, весь яд того злословия, которым окружено было воцарение Бориса, и представил дело так, что Борис грубо и хитро подготовил сам свой успех, страхом и лестью побудив народ, «чтобы на государство всем миром просили Бориса». Запуганное вельможество молчало; «велицыи же бояре, иже от корене скипетродержавных (то-есть князья Шуйские) и сроднии великому государю царю и великому князю Федору Ивановичу всея Русии (то-есть Романовы) и достойни на се не изволиша ни много, ни мало поступити и между себе избрати, но даша на волю народу». Обманув и запугав вельмож, застращав и подкупив толпу, Годунов устроил с помощью московской полиции сцену народного моления у Новодевичья монастыря. Силою пригнали нехотящих к монастырю, «и заповедь положена:

аще кто не прийдет Бориса на государство просити, и на том по два рубля правити на день». У монастыря в толпе, воплями просившей Бориса, ходили пристава и приказывали народу падать на колена и вставать, плакать и вопить, «не хотящих же созади в шею ихающе и бюще». Так будто бы полицейское усердие Борисовых агентов являло боярам и самому Борису народную к нему привязанность и желание видеть его на престоле. Никакой законности, никакой правды и ни малейшего приличия не было будтобы в том, как овладевал царством цареубийца Борис. Злословие «повести 1606 года» родилось в московских политических кружках, враждебных Борису, но оно перешло и в площадную толпу. Разного рода слухи, распространяясь по Москве, принимали часто совсем невероятную форму. В одном мелком казусе есть возможность проследить такой рост слуха—от маленькой действительности к большой выдумке. У Ивана Тимофеева читаем мы любопытное сообщение, совершенно вероподобное. Какой то мальчишка взобрался на монастырскую стену пред самыми окнами кельи царицы Ирины в то самое время, когда Бориса всею Москвою молили принять престол. Тимофеев думает, что этот «отрок» был подучен «коварно» Борисом или его «блазнителями», потому что его никто не прогонял и не останавливал, хотя он и вел себя предосудительно. Он вопил, «непременне крича и не престая», прямо в окна царицы, чтобы она побудила Бориса согласиться на народные просьбы и взять царство. Если-бы это не было «любезно» Борису, говорит Тимофеев, то мальчишка «не бы к месту тому и приступити смел». Маленького безобразника заметил повидимому не один Тимофеев: о нем заговорили и другие. Но этот слух о наглом и неприятном просителе получил разные версии. В сказании одного современника иностранца читаем, что уже «два отрока» по воле избирателей пели «довольно неприятным образом» в надежде смягчить Бориса. В другой редакции того же сказания записано, что пела целая толпа юношей («da machte die gantze Gemeinde einen Haufen junger Knaben und Jünglinge aus»). И, наконец, в дальнейшем развитии слуха, выросшего в легенду, получилось, что из Москвы выслали к монастырю особой процессией несколько тысяч мальчиков с слезным прошением к Борису («schickten etliche tausent junge Knaben aus»). В такой форме наш ничтожный эпизод был серьезно записан Петром Петреем. Исследователь,

который будет доверчиво ловить подобного рода сообщения современников и очевидцев, узнает кое-что любопытное и колоритное, из внешних подробностей царского избрания, но не проникнет в суть происходившей тогда политической игры. От Тимофеева, например, он узнает, как вел себя Борис пред толпою во время всенародного прошения: как вышел он на крыльцо келын и, с обычною привычкою помогать руками языку, «облагал окрест шеи» свой платок, показывая этим, что удавится, если «не престанут молящии». Этим Борис пояснял будто бы свои слова далеко стоящим людям, не могшим слышать его речь, и «плошайших убо сим в веру многу уловн» (то-есть, глупых уверил), а затем «убежал» в келью, где в конце концов и согласился стать царем. Несколько подобных черт можно собрать из летописей и мемуаров, но они ни опровергнут, ни пояснят, ни дополнят официальных сообщений, по которым избрание Бориса было совершено правильно составленным земским собором, в его торжественном заседании 17-го февраля, под руководством патриарха, поставленного царицей во главе временного правительства, и после предварительных совещаний, бывших с ведома и по указанию патриарха.

VI.

Новые и очень ценные сведения о том, что происходило в периоде этих предварительных совещаний в Москве, дают нам иностранные документы, относящиеся к официальной и деловой переписке литовской администрации и немецких купцов, торговавших тогда в Московском государстве. Московская власть постаралась принять все меры к тому, чтобы скрыть от посторонних глаз происходившие в Москве после смерти царя Федора события. Московское междуцарствие и избрание нового государя должны были протечь не только без постороннего участия и влияния, но и в совершенной тайне. Границы государства после смерти царя были закрыты: через них никого не впускали и не выпускали. На всех дорогах, даже простых тропинках, держали стражу, чтобы никто не дал вестей из Москвы немцам или Литве. Иноземные купцы были задержаны в Москве, Пскове, Смоленске и других городах, взяты на казенный кошт и состояли под надзором. Официальных гонцов из

соседних государств выпроваживали с московской границы, как могли, скорее, не позволяя им входить в сношения с жителями. В пограничных крепостях усилили гарнизоны и чинили укрепления, опасаясь покушений со стороны соседних государств. Видя такие предосторожности, иностранцы, конечно, со своей стороны постарались усилить средства и способы своих наблюдений. Ближайший к московской границе (у Смоленска) литовский чиновник, «староста» Оршанский (г. Орши) Андрей Сапега, направил за московскую границу своих шпионов («шпигов») тотчас, как узнал о смерти царя Федора. Они добыли ему много сведений, несмотря на все московские предосторожности. По характеру этих сведений и по степени их точности можно даже подумать, что они были собраны не в толпе, а в кругах, имевших связь с Москвою и хорошо осведомленных. Андрей Сапега особыми донесениями сообщал полученные им московские вести литовскому великому гетману Христофору Радзивилу. Вот эти-то донесения и дают целый ряд любопытнейших показаний о том, что именно происходило в политических и придворных сферах Москвы в период первых сорока дней по смерти царя Федора, когда, по слову патриарха Иова, люди «которые на Москве» мыслили «себе все обще, кому у них государем быть». Оказывается, что уже в январе 1598 года, недели через три после кончины Федора, Сапега знал, будто бы в Москве наметились четыре кандидата на царский престол: Б. Ф. Годунов, о котором говорили, что он очень скорбит; князь Федор Иванович Мстиславский, первенствующий в боярской думе сановник; Федор Никитич Романов, родственник по женской линии царя Федора, и Бельский, который при покойном царе был в опале, а теперь явился в Москву с большой свитой своих людей, желая стать царем. Сапега думал, что из-за престола в Москве может даже произойти кровопролитие. По его соображениям, наибольшие шансы из всех кандидатов имел Романов, как царский родственник. Прошло дней десять со времени этого письма Сапеги, и Сапега сообщает Радзивилу новые вести из Москвы в письме от 5 февраля старого стиля (стало быть, до избрания Бориса). Вести на этот раз были удивительные: во-первых, рассказывали, что в последние свои дни царь Федор, на вопрос Бориса, кому придется царствовать после него, ответил Годунову: «ты не можешь быть на престоле, ибо не высокого происхождения»; при этом будто-бы царь указал на Ф. Н. Романова

и сказал, что его скорее выберут в цари. Во-вторых, Сапега узнал невероятную и путаную историю о смерти царевича Димитрия. Ему сообщили, «будто бы по смерти Федора Ивановича Годунов имел при себе своего приятеля, во всем очень похожего на того покойного князя Димитрия, брата великого князя московского, который был рожден от Пятигорки (Марии Темрюковны?) и которого давно нет на свете. Написано было от имени этого князя Димитрия письмо в Смоленск, что он уже сделался великим князем. Москва стала удивляться, откуда он взялся; но так полагали, что его до того времени таили. Когда это дошло до воевод и бояр, они стали друг друга расспрашивать. Один из них, некий Нагой, сказал, что князя Димитрия нет на свете и что знает это астраханский тиун Михайло Битяговский. Тотчас за ним послали и стали у него допытываться, жив ли князь Димитрий или нет. На допросе он признался, что сам убил Димитрия по приказу Годунова, и что Годунов хотел своего друга, схожего с Димитрием, выдать за князя Димитрия, чтобы того (друга) избрали великим князем, если не захотят самого Бориса. Астраханского тиуна (Битяговского) казнили, а Годунова стали укорять, что он изменил своим государям: вероломно убил Димитрия, который теперь был бы необходим, и отравил Федора, желая сам стать великим князем. В этой ссоре и распре Федор Романов бросился на Годунова с ножом, желая его убить, но другие этого не допустили. Говорят, после этой свары Годунов в думе не бывает и, живя в Кремле, где собирается обычно дума, очень стережется, держась вместе со своими сторонниками». Это письмо Сапеги от 5 (15) февраля 1598 года вскрывает пред нами поразительные факты. Оно прежде всего указывает, что уже в те дни существовало основание позднейшей легенды о передаче скипетра Романовым прямо от царя Федора. Позднейшая легенда создала целую сцену: царь Федор, умирая, предложил будто-бы скипетр Федору Никитичу Романову; тот уступал его своему брату Александру; Александр передавал его другим братьям, и никто не решался взять, пока Борис сам не схватил его. Начало этому преданию было положено, значит, в самую минуту кончины царя Федора, когда впервые выяснилась кандидатура на престол старшего Романова. Затем письмо Сапеги свидетельствует, что обвинение в покушении на жизнь Димитрия, совместно с мыслью о самозванном воскрешении царевича, существовало уже перед воцарением Бориса и

было широко пущено в оборот, как средство избирательной борьбы против Бориса. В виде вздорной и злостной молвы оно расползлось из Москвы по всей стране и проникло за ее границы, чрезвычайно скоро попав в уши Сапеги. Сапега заключил свое письмо от 5-го февраля сообщением, в виде позднейшей приписки, что на его последним сведениям на стороне Годунова стоят некоторые из бояр, все стрельцы и почти все «поспольство» (простое граждански свободное население), тогда как за Романова большая часть вельмож. В глазах Сапеги шансы Бориса как-бы постепенно росли. Сначала он верил в избрание Романова гораздо более, чем в успех Бориса, ибо считал Годунова человеком низкого происхождения. Затем он узнал о популярности Годунова в народной массе и придал этому надлежащее значение. В письме от 13 (23) февраля он уже с особым ударением подчеркивал, что народ и стрельцы очень хотят Годунова, тогда как бояре более «сонзволили» бы на выборе Федора или Александра Романовых. Положение дел в Москве представляется Сапеге как «замешанье», то-есть мятеж или общественное смятение, и он знает, что официальная «элекция» великого князя в Москве еще не совершалась и приурочивается или к «сорочинам» по смерти Федора или к «сборному воскресенью». К сожалению, не сохранилось тех писем Сапеги, в которых можно было бы видеть его впечатление от торжества Бориса: после письма 13-го февраля следующее его письмо о московских делах датировано 6 (16) июня и говорит уже о позднейших московских событиях. Но и по сохранившимся письмам Сапеги делается ясным общий ход избирательной борьбы в Москве. Из нескольких кандидатов на престол в Москве выдвинулось в конце концов два: Борис и старший Романов. Борьба между ними получила повидимому острый характер: говорили о покушении Федора Романова на Бориса; ожидали мятежа и кровопролития. Настроение народной массы определилось в пользу Бориса еще до земского собора 17-го февраля, и это повело к избранию Бориса на соборе. Но противная Борису сторона не сразу сложила оружие и не сразу признала победу Бориса: борьба продолжалась и после собора. В немецком письме, посланном из Пскова вскоре после избрания Бориса и присяги ему, находятся любопытные намеки на то, что вельможи и после соборного избрания не желали признавать Бориса царем и что присяга Борису не везде проходила гладко.

Так, братию Псково-Печерского монастыря пришлось приневоливать к присяге, ибо монахи не сразу поверили в избрание Годунова.

VII.

Приведенные сведения иностранцев имеют в глазах исследователя чрезвычайную цену. То, что успела заглушить в московской письменности политическая сдержанность и робость, в иностранных документах говорилось свободно. Сообщения иностранцев об избирательной борьбе в Москве об'ясняют многое и из того, что там последовало за согласием Бориса взять престол. Москва стала присягать новому царю, и современники были недовольны ходом и формой этой присяги. Борис по всей видимости желал придать присяге наибольшую обязательность и крепость. Вместо дворца и присутственных мест, где прежде целовали крест, Борис велел народу присягать в церквах и даже в главном московском соборе—Успенском. Дьяк Иван Тимофеев изобразительно описывает, как там присягала непрерывная толпа. Народ целые дни громко выкрикивал слова крестоцеловальной записи, точно «много животное бессловесных стад реваху», прерывая и заглушая церковную службу. При присяге должны были безо всякой нужды присутствовать «первосвятитель»-патриарх, духовенство и боярство. Клятва таким образом была по внешности неблагочинна. В самом тексте присяги Тимофеев находил неуместные слова стращанья и угрозы: «Богоотступно слово приведе (говорит он о Борисе), яко не быти на нас всех Сотворшего ны милости и святых Его». Действительно в подкрестной записи Бориса было подобное выражение: «а не учну яз государю...служити и прямити или какое что лихо сделаю мимо се крестное целование, и не буди на мне Божья милость и Пречистые Богородицы...и всех святых». Этим Борис, по мнению Тимофеева, «анафеме всех подложи». Осуждали современники и другие меры, принятые Борисом к укреплению его «имени» царского и сана. Власти при царе Борисе предписывали петь многолетие в церквах не только самому царю, но и его жене и детям; велели писать в грамотах царское имя «полным именованием», то-есть всегда с полным титулом; установили ежегодный крестный ход из Москвы в Новодевичий монастырь в память избра-

ния Бориса на царство; поощряли устройство домовых церквей в честь государева ангела (св. князя Бориса). Такого рода распоряжения сопровождались и еще одним торжественным актом. Утвержденная грамота Борисова избрания была составлена с особым литературным щегольством и витийством и подписана в двух экземплярах всеми участниками земского собора. При этом особо был обсужден вопрос о месте ее хранения: «соборне» решали, где «сохранно, утвердивше, положити сию утвержденную грамоту, да будет твердо и неразрушно в предыдущие лета в роды и роды и во веки, и не преидет ни едина черта или іота едина от написанных в ней ничесоже». Вопросу этому придавали такую важность, что мысль о нерушимости царского избрания, совершенного в 1598 году, дерзнули выразить в словах Господня поучения, гласившего в нагорной проповеди, что ніота едина или едина черта не преидет от закона (Матф., V, 18). Решили один экземпляр утвержденной грамоты хранить «в царских сокровищах с прочими грамотами», а другой—в Успенском соборе в патриаршестей ризнице». На деле же последний экземпляр вложили в раку мощей митрополита Петра в Успенском соборе, как в хранилище, никогда не вскрываемое, чем был очень озадачен Ив. Тимофеев, увидевший здесь чуть ли не кощунство. Наконец, собор иерархов, входивший в состав земского собора, внес в конец утвержденной грамоты формениую «анафему» на всех «сию утвержденную грамоту не добре мнящих»: кто «начнет вопреки глаголати и молву в людех чинити» против избрания Бориса, тот «облечется в клятву», «чину своего извержен будет и от церкви отлучен», а «по царским законам суд воспримет» и «будет проклят в сий век и в будущий». Далее будет видно, что для таких мер были поводы не только в ходе предсоборной избирательной агитации за и против Бориса, но и в обстоятельствах, следовавших за самым царским избранием 17—21-го февраля 1598 года.

Уже давно историки заметили некоторую странность в подкрестной записи, по которой приносилась присяга царю Борису. Во-первых, известный историкам текст этой записи дошел до нас с датою 15-го сентября 1598 года. Хотя число это относится к «списку» записи, то-есть копии, сделанной в Сольвычегодске, а не к московскому ее тексту, однако такая дата почиталась слишком позднею и для копии. Она заставляла предполагать, что по этой

записи была взята вторичная присяга Борису, повторенная быть может, по случаю венчания Бориса на царство 1-го сентября. Повторение присяги в Москве уже раз происходило—при Иване Грозном, после его известной болезни, когда он имел случай убедиться в неискренности своих советников. Устюжские летописцы отметили тогда, что впервые «целовали крест за государя» в 1534 году, «а в лето 7062 (1554) приводили вдругие к целованию за царя и великого князя и за его царицу и великую княгиню Настасию и за царевича Ивана в Петров пост». Само по себе повторение присяги не возбуждало бы особого удивления. Но во-вторых, в тексте присяги царю Борису находится обязательство не хотеть на Московское государство царя Симеона Бекбулатовича и его детей, «ни думати, ни мыслити, ни семьитися, ни дружитися, ни ссылатися с царем Семионом ни грамотами, ни словом не приказывать». Почему могла тогда явиться мысль о царе Симеоне, казалось совсем непонятным, и С. М. Соловьев потратил не мало остроумия на посильное раз'яснение этой загадки. Раз'яснилось это дело только с опубликованием письма Андрея Сапеги Христофору Радзивилу о московских вестях от 6 (16) июня 1598 года.

Личность «царя», точнее—хана Касимовского Саин-Булата (в крещении Симеона) Бекбулатовича довольно таки известна в московской жизни второй половины XVI века. Праправнук последнего Золотоордынского хана Ахмата, Симеон смолоду стал служилым «царевичем» в Москве, получил в обладание Касимов в качестве как-бы удела, в 1573 году крестился и затем женился на дочери боярина Ив. Фед. Мстиславского. Во второй половине 1575 года Грозный поставил Симеона Бекбулатовича во главе управления тою частью Московского государства, которая носила название «земского» или «земщины». В то время, как сам Грозный, находясь во главе опричнины, носил титул «князя Московского», Симеону был усвоен титул «великого князя всея Руси», и он трактовался, как носитель верховной власти в государстве. Какой деловой смысл имела эта комбинация, определить нельзя; по совершенно ясно, что действительной власти у Симеона не было, и он являлся для Грозного простой игрушкой. «А был на великом княжении Симеон Бекбулатович год не полон (говорит современник), и потом пожаловал его государь на великое княжение в Тверь, а сам опять сел на царство Московское». Перемещение Симеона в Тверь

создало в Тверской области особый порядок управления; «великий князь» был там государем: давал жалованные грамоты, раздавал поместья, собирал в свою пользу дани и оброки, держал большой двор. Со смертью Грозного для Симеона прошли красные дни: в первые годы власти Годунова Симеон «не бяше уже на уделе в Твери: сведоша его в село Кушалино (близ Твери), двора же его людей в те поры не много было, и живяше в скудости». В эти же приблизительно годы Симеон потерял зрение, и—по обычаю того времени—его слепота была приписана козням правителя Бориса, который будто бы «посла к нему с волшебною хитростью и повеле его ослепити». Повидимому опала на Симеона пришла вместе с опалою на его тестя князя Мстиславского, который, как мы знаем, неудачно попробовал соперничать с Борисом.

Вот об этом-то Симеоне и писал Радзивилу Андрей Сапега в письме от 6 (16) июня 1598 года: Не успел Годунов отправиться из Москвы в поход против татар (в начале мая), как «некоторые князья и бояре, прежде всего Бельский и Федор Никитич (Романов) с братом (Александром) и не мало иных, стали думать, как бы взамен нежелаемого ими Бориса избрать на царство Симеона». Сапега не умел точно назвать Симеона Бекбулатовича Касимовского и назвал его «сыном Шугалеевым царевичем Казанским»; но это не меняет дела, так как в Москве «царевич» Симеон был один и смешать его не с кем. Борис будто-бы узнал о боярском замысле против него и успел его расстроить, указав боярам, что под грозой татарского набега нельзя заниматься внутренними счетами и раздорами. Успокоив своих недоброжелателей, он выступил сам с войском к Серпухову, не венчавшись на царство, хотя в Москве и настаивали, чтобы он ускорил свою коронацию. Таково сообщение Сапеги. Оно совершенно об'ясняет нам эпизод с Симеоном. Соперники Бориса, очевидно, не сложили оружия после соборного избрания его на царство. Сами они проиграли свою игру и не могли уже выступать в качестве претендентов на престол; но не хотели они и примириться с победою Бориса. Им оставалось—пока власть Бориса не освящена церковным венчанием—приискать нового ему соперника. Для этого и пригодился Симеон—«царь» касимовский, «великий князь» сначала «всея Руси», а затем «тверской», обладавший титулами и «породою», гонимый Борисом и связанный родством с

виднейшим боярским родом князей Мстиславских. В его пользу и был задуман переворот, который Борису как-то удалось предупредить. Напуганный новою опасностью, Борис повидимому решился привести своих подданных ко вторичной присяге, вставив в нее новые обязательства: «не хотеть» на царство Симеона и не сноситься с ним. Первая присяга была принесена Борису в исходе февраля и в первые дни марта, а вторая приносилась, по всем признакам, в мае и позднее.

Последним эпизодом воцарения Бориса был его торжественный поход к Серпухову. Этот поход, «по вестям» о приходе Крымского хана на Русь, был задуман Борисом в особенной форме. Кажется, не было нужды ни собирать громадного войска, ни самому царю выступать во главе его. По крайней мере современники не верили в действительность той военной опасности, против которой вооружился Борис. Но Борис старался придать походу особенную важность. Войска к Серпухову было стянуто так много, что очевидцы готовы были исчислять его сотнями тысяч. Лагерь на Серпуховских лугах по берегу Оки занимал будто бы пять квадратных миль. Среди лагеря для царя устроили «целый город из шатров». Этот «снеговиден град» восхищал очевидцев своей величиною и затейной красотою: он казался им белокаменным городом со многими воротами и башенками. Сооружение это, кстати сказать, пережило Бориса: его великолепные шатры были снова разбиты в Серпухове для Лжедимитрия в 1605 году, когда тот победно шел к Москве. В своем великолепном лагере Борис не дождался татарской рати, да, вероятно, и не рассчитывал дождаться: он только принял под Серпуховым посольство от Крымского хана и устроил ряд смотров и парадов своим войскам, расточая им ласки, угощения и подарки; «они же все, видяще от него милость, возрадовались, чаяху и впредь себе от него такого жалованья», заметил по этому поводу летописец. В этом в сущности и состояла цель Бориса: в общении с воинскими массами новый государь искал себе популярности и опоры для своего трона. После того, как он убедился, что эти массы расположены к нему и признали его в новом царском достоинстве, он к осени возвратился в столицу и в самое «новолетие», в первый день нового 7107 года, то-есть 1-го сентября 1598 года, венчался царским венцом. Мы уже имели случай отметить, как вел

себя Борис во время торжественного обряда. Он громко всему народу дал обещание заботиться о слабых и сирых. «Тряся верх срачицы (то-есть, воротник сорочки) на себе», он говорил патриарху: «се, отче патриарх Иов, Бог свидетель сему: никто же убо будет в моем царствии нищ или беден! и сию последнюю (срачицу) разделю со всеми!» Очевидцы передают, что эти слова умилили присутствовавших. Позднейшие московские воспоминания о Борисе к этому рассказу о благотворительном обещании Бориса добавили и еще кое-что. В 1651 году один из Пушкиных говорил, например: «как ден Бориса выбирали на Московское государство, и он де в те поры перед всем народом клялся, что ему другу не дружить, а недругу не мстить». Таких свидетельств об обязательстве ограничительного характера современники Бориса не сохранили вовсе, и мы в праве думать, что представление Пушкина об обещании правосудия и беспристрастия выросло из милосердных посулов Бориса. Тем более трудно верить Пушкину, что другое московское предание удостоверяло обратное. Историк В. Н. Татищев записал около 1730 года о Борисе следующее: «Бояре хотели, чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал, чего он учинить и явно отказать не хотел, надеясь, что простой народ выбрать его без договора бояр принудит. Сие его отрицание и упрямство видя, Шуйские начали говорить, что непристойно более его просить, и представляли, чтобы обирать иного. Тогда патриарх пошел с крестным ходом, и Годунов безо всякого отрицания принял». Татищев руководился таким же неудостоверенным преданием, как и Пушкин. Ни на том, ни на другом историк основываться не может; но он может утверждать, что пред венчанием на царство и во время самого венчания, в Москве и в Серпуховском походе, Борис усердно спискивал расположение народных масс и самое венчание свое оттянул до того времени, когда мог, наконец, убедиться в полном своем торжестве над своими соперниками и врагами. Обычная осмотрительность и осторожность не покинула Бориса и в эту самую торжественную и решительную минуту его политической жизни.

VIII.

Мы представили обзор всех событий, сопровождавших избрание и воцарение Бориса или, точнее, определивших

самый вид этого избрания и воцарения. Если вдумаемся в ход избирательной борьбы и сообразим, кто именно боролся за царский сан против Бориса, то поймем всю трудность и роковую сложность создавшегося для Бориса положения. В борьбе за престол против него оказались не боковые ветви угасшей династии, не представители других династий, не какая-либо политическая партия с своим партийным кандидатом. Против Бориса оказались отдельные лица, и притом его дворцовые друзья и недавние союзники.

В своем месте была отмечена та близость, которая установилась, еще при старом Никите Романовиче, у Бориса с семьею «Никитичей» Романовых. «Союз дружбы» их был скреплен даже клятвенными обязательствами взаимной помощи и поддержки, и Борис во время болезни Никиты Романовича и после его кончины заступил Романовым место отца, опекуна и руководителя. Он «соблюдал» их, то-есть оберегал, пока они из придворной молодежи не превратились в сановников. В свой черед с Богданом Бельским у Бориса была давнишняя близость, зародившаяся еще тогда, когда Борис мальчиком попал ко двору Грознаго и «при его царских пресветлых очах был всегда безотступно», вместе с Бельским разделяя покровительство и фавор гневливого царя. Когда после смерти Грозного Богдан Бельский вызвал на себя озлобление московской толпы и был послан в ссылку, Борис показал ему свою приязнь тем, что «снабдевал» его всем необходимым, и Богдан, «преезжая от веси в весь, во обилии тамо и покои многе пребываше вседомно». Все эти люди составляли ядро дворцовой знати того времени и были всем ходом дворцовой жизни поставлены особо от родовой княжеской знати и против нея. Они должны были держаться единым и согласным кругом, чтобы обеспечивать за собою придворное первенство и политическое преобладание. К этому кругу, как мы видели, примыкали и знаменитые дьяки братья Щелкаловы, предоставившие свой опыт и свои таланты в распоряжение Бориса и руководимой им среды. Во все время царствования Федора Ивановича придворная знать не являла никаких признаков внутреннего распада. Один только старший Щелкалов, Андрей Яковлевич, был отстранен от дел по неизвестной точно причине. Но если отставка эта произошла вследствие опалы, то вина Андрея Яковлевича во всяком случае сочтена была личной и случайной, ибо брат его Василий не только не пострадал с Андреем, но даже засту-

пил его место и наследовал его первенство в дьячьем чину. Но как только умер царь Федор, распад в боярском кружке обнаружился сразу. Друзья рассорились из-за вопроса о престолонаследии. Богдан Бельский явился в Москву искать престола, на который, конечно, не имел ни малейшего права. Федор Романов, не признав старейшинства Бориса, выступил также с вожделением трона и действовал при поддержке своего брата Александра. Василий Щелкалов взялся говорить с народом о присяге на имя боярской думы, что было направлено, разумеется, против Бориса. Борис мог убедиться, что политика Грозного и его собственная политика достаточно ослабили княжескую знать: ни один князь, ни Рюрикович, ни Гедиминович, не искали престола по смерти Федора и сидели смирно под пятою Годуновской администрации. Среди кандидатов на царство никто из москвичей того времени не произносил имен князей Шуйских и князей Булгакова рода (Голицыных и Куракиных). Единственный князь Ф. И. Мстиславский, названный как кандидат, сам решительно отрекался от выбора. Князья молчаливо уступали дорогу к престолу дворцовой знати и в частности Борису. Но не хотели ему уступить его собственные друзья, ему же обязанные помощью и дружбой в дни испытаний. Борьба повела к диким проявлениям вражды и ненависти. На Бориса его друг Федор Романов обнажил даже нож. На Бориса взвели обвинение в покушении на жизнь Димитрия. Бориса связали с именем покойного царевича и в том смысле, что Борис якобы собирается его воскресить—подставить самозванца, если не выберут самого Бориса, и править именем Димитрия. Если верить известиям сказаний XVII века, что Борис посылал повсюду своих «рачителей», чтобы страхом и «лестью» побуждать всех выбирать на царство именно его, то нельзя не поверить и тому, что против Бориса, в свою очередь, были пущены сильнейшие средства воздействия до личных насилий и клеветы. Былые друзья превратились в жесточайших врагов, и Борис мог убедиться в том, что с его восшествием на престол и благодаря именно этому восшествию прежний круг дворцовой знати перестал существовать. До этого времени в придворной среде Борис имел против себя княжат, а за себя своих «крестоклятвенных» друзей; теперь же, с его воцарением, он имел против себя и тех и других. Обратясь в династию, Годуновы оказывались в одиночестве среди знати и должны были

всех остерегаться. В этом заключалась главная трудность положения Бориса. Она осложнялась тем, что бывшие друзья, обратившиеся для Бориса в главных врагов, были очень агрессивны и не оставили борьбы даже после формального избрания Бориса. Эпизод с Симеоном Бекбулатовичем очень показателен в этом отношении. Он может об'яснить нам, так сказать, психологию дальнейшей борьбы. Вдумавшись в него, можно понять, как борьба могла дойти до самозванщины. Проиграв избирательную компанию, противники Бориса имели в нем против себя правильно избранного народною волею монарха. Никаким боярским или княжеским именем действовать для его свержения было уже нельзя. Попробовали тогда выдвинуть лицо, имевшее ранее Бориса титулы «царя», по происхождению от ханов, и «великого князя», по пожалованию Грозного. Но это оказалось попыткою с негодными средствами, ибо Симеону (да еще ослепшему) оказалось не под силу тягаться с Борисом. Для этого «царю и великому князю» Симеону не достало ни личного авторитета, ни средств. Но когда не удалась интрига с ослепшим и полузабытым татарским служилым ханом, естественно было домыслиться до того, что против Бориса оставалось только одно средство—попытаться восстановить старую царскую династию, чтобы ею упразднить новую. «Димитрия воскреснувшее имя» произносилось и писалось в письмах в 1598 году; но от Андрея Сапеги нам известно, что в начале оно получило не то употребление, как потом. Вначале, обвиняя Бориса в убийстве царевича, говорили, что он держит у себя самозванца и готов подставить ложного Димитрия вместо себя, если не будет избран на царство. Впоследствии же подставили ложного Димитрия уже против Бориса.

Разумеется, поставленный лицом к лицу с такими противниками, Борис понимал всю трудность своего положения: и свое политическое одиночество, и агрессивность своих врагов, и затруднительность борьбы с ними. Если бы Борис имел против себя сословную оппозицию княжат, он мог бы действовать против нее опричинским террором, яко бы в целях государственного порядка. Если бы против него была политическая партия, с ней была бы возможна открытая борьба. А против отдельных лиц и семей, недавно дружеских и близких, всякая карательная мера казалась бы низкой местью и роняла бы достоинство власти. Борис не уронил себя настолько, чтобы тотчас же прибегнуть к

этой мести; но он не в силах был и вовсе от нее воздержаться. Он дождался случая, когда мог пред'явить к Бельскому и Романовым формальное обвинение, и тогда не пощадил их. С. М. Соловьев беспощадно упрекает Бориса за его мелочность и «завистную злобу к своим старым соперникам»; но знакомство с позднее обнародованными документами ведет к иному суждению. Борис, конечно, мог быть великодушнее и милостивее, но его месть практически запоздала: чтобы обезвредить своих ненавистников, он должен был бы покарать их гораздо раньше, чем он это сделал. Его кара не предупредила того, что было направлено на его погибель и что действительно погубило и его самого и его семью.

Романовы и Бельский, кажется, были целы и невредимы, когда в Москве пронесся первый слух о появлении самозванца за рубежом. В первые месяцы своего царствования Борис даже наградил Александра Никитича Романова саном боярина, а Михаила Никитича сделал окольничим (старший Романов, Федор Никитич получил боярство еще при царе Федоре Ивановиче). Но в конце 1600 или начале 1601 года над Бельским и Романовыми разразилась гроза государевой опалы. Ученые колеблются в хронологии событий. Ряд известий говорит, что как раз в это время, в 1600—1601 годах, разнеслась молва «о Димитрии Ивановиче», был сослан Бельский, были сосланы Романовы, но в какое взаимное отношение по времени должны быть поставлены эти факты, решить точно нельзя. Во время сыска (то-есть следствия) над боярами им не пред'являлось обвинения в том, что они создали самозванца, и потому данныя о Бельском и Романовых не дают оснований связывать их опалу и ссылку с самозванщиной, хотя бы она и началась одновременно с разгромом боярских семей. Но косвенные соображения, которые приведены ниже, устанавливают возможность и вероятность этой связи. Борис, по словам одного современника, узнав о появлении самозванца, «сказал князьям и боярам в глаза, что это было их дело» («в чем и не ошибся», прибавляет этот современник от себя). Не имея прямых данных настаивать на существовании связи между самозванщиной и гонением на бояр, не можем также решить, кто пострадал раньше от Бориса: Бельский или Романовы, так как точно установить время следствия над Бельским нет возможности. «Новый летописец» рассказывает о разгроме Романовых ранее, чем

об опале на Бельского; а современник Буссов (составивший любопытнейшую «хронику» московских событий) помещает известие о Романовых позже рассказа о наказании Бельского.

Дело Бельского, как и все, связанные с именем этого авантюриста, представляется мало понятным. По летописцу, дело было так. Борис послал Бельского на «дикое поле» на р. Донец, на устье р. Оскола, ставить на Донце «Новый Царев Борисов город». Наказ Бельскому был дан летом 1600 года[1]). Летописец говорит, что на далекий юг, служивший для Бельского, очевидно, местом почетной высылки из Москвы, Бельский, «человек богатый», пошел «с великим богатством» и «всяким запасом». Работы на месте он начал «своим двором», то-есть частными средствами и своими людьми, а всей рати, посланной с ним, велел затем делать крепость «с того образца», то есть по образцу, данному его двором. Таким образом, «двор» Бельского, его люди и холопы, стали на виду в Цареве Борисове городе, как ранее были на виду и бросались в глаза в Москве, когда в 1598 году Бельский поспешил туда «с великим людом» на царское избрание. А кроме того могла возбудить подозрение та приветливость, какую Бельский показывал всей рати, посланной с ним в новый город. Он ее поил, кормил и дарил деньгами, платьем и запасами. Его, конечно, благодарили и хвалили, а он, по слухам, величался, говоря, что царь Борис на Москве царь, а он царь в Цареве-Борисове. Слухи дошли и до Москвы, и «пронде на Москве про его от ратных людей хвала велия о его добродетели» (как уклончиво выразился летописец). Эта «хвала велия», принявшая форму доносов, смутила Бориса: в нем уже, по словам Тимофеева, было готово подозрение против Бельского, что он желает царства. Бельского вызвали в Москву, допрашивали с унижением и, как говорят, с пытками, лишили думного чина, окольничества, конфисковали имущество, распустили его «двор», подвергли его даже телесному наказанию и сослали в Низовые города, на Волгу, в тюрьму. В Поволжье Бельский

[1]) Наказ, изданный проф. Багалеем, датирован им «1600 годом». В начале документа сказано, что царь велел Бельскому ехать «на Донец на устье Оскольское» лета 7108 (1600) «июля во 5 день», а ниже: велено Бельскому «стать на Ливнах за неделю до Ильина дня нынешнего 107 (1599) года». Следуем дате, принятой издателем, и относим документ к 1600, а не к 1599 году.

и пробыл до смерти Бориса и воцарения самозванца, который оказал ему большую милость и возвел в бояре.

Дело Бельского было вершено, вероятно, в конце 1600 года. Приблизительно тогда же, по нашему мнению, началось обширное дело Романовых, в которое были затянуты многие родственные Романовым семьи князей Черкасских, князей Сицких, князей Репниных, князя Шестунова, Шереметевых, Карповых и др. По словам летописца, дело началось с доносов. Холопы Романовых правительством всячески понуждались доносить на своих «государей», за которыми Борис счел необходимым установить своего рода полицейский надзор. Однако доносы не давали достаточных поводов для преследования, пока не поступило от казначея Александра Никитича Романова, от Второго Бартенева, заявление, что он готов показать на своего «государя» все, чему его научат. Тогда Семен Никитич Годунов, заведывавший при Борисе политическим сыском и бывший (по выражению Карамзина) «главным клевретом нового тиранства», наложил «всякого коренья в мешки» и научил Бартенева подложить их в «казну» Александра Никитича, а потом «известить» правительство об этих «кореньях». Бартенев так и сделал: он «довел», то-есть донес, на своего государя, что тот занимается «ведовством», иначе ворожбой, и держит у себя «коренья». Насчет «коренья» в подкрестной записи царю Борису было сказано не мало, чтобы «зелья лихого и коренья» не давать никому и ни от кого не принимать во вред царю Борису и его семье и «ведунов и ведуний не добывати на государское на всякое лихо». Когда по обыску коренье у Романовых нашлось, его привезли к патриарху и туда же собрали всю заподозренную в колдовстве семью «Никитичей». У патриарха «бояре же многие на них, аки звери, пыхаху и кричаху». Этой шумной сценой негодования на «изменников, хотевших царство достати ведовством и кореньем», начался процесс Романовых.

Было бы ошибочно думать, что обнаружение корешков считалось тогда ничтожным поводом для преследования. Обвинение в колдовстве, напротив, было в ту эпоху одним из самых тяжких, и борьба с ведовством составляла серьезную заботу церковной и мирской власти. По словам проф. Новомбергского, «эта борьба отличалась не меньшею жестокостью, чем в Западной Европе; Московская Русь в борьбе с ведунами пережила и повальный террори-

зирующий сыск, и пытки, и публичное сожжение обвиненных в чародействе». Все это, кроме только сожжения, было применено к Романовскому кругу. Нашли коренье у Александра Никитича, арестовали же всех его «сродников», не только Романовых, но и «свойство» их — Черкасских, Сицких и т. д. Одного из князей Сицких с его семьею даже привезли из Астрахани для допроса и розыска. Особенно же взялись за Федора Никитича и его братьев, а также за князя Ивана Борисовича Черкасского, которого подозревали в чем-то особенно тяжком. Этих лиц «приводиша не единова к пытке» (то-есть, допрашивали «с пристрастием»), а людей их — тех и на самом деле «пытаху розными пытками», и «помираху многие на пытках». Дело окончилось осуждением подсудимых. Федора Никитича сослали на С. Двину в Антониев Сийский монастырь, предварительно постригши его в монахи, чем навсегда уже лишили его возможности искать престола и мечтать о царском венце. Братьев его и родню также сослали, а жену его Ксению Ивановну и тещу Марию Шестову притом и постригли. Для их стражи и приставов виновные и осужденные были квалифицированы, как «злодеи, изменники, хотели царство достати ведовством и кореньем». Так закончился суд над Романовыми. Из особого «дела о ссылке Романовых» узнаем мы их дальнейшую судьбу: Федор, во иночестве Филарет, Никитич до воцарения самозванца томился в Сийском монастыре; его жена была заточена в Заонежских погостах (между озерами Ладожским и Онежским); его дети, Михаил и Татьяна, вместе с семьею Александра Никитича и теткою княгинею Черкасской были усланы на Белоозеро, а оттуда в село Клины (около Юрьева-Польского). Александр Никитич был послан «к Студеному морю к усолью, рекомая Луда». Михаила Никитича отвезли в Пермский край и держали в селе Ныробе в тюрьме. Василий Никитич содержался в Яранске, а Иван Никитич — в Пелыме. Изо всех братьев выжили только Филарет и Иван. Остальные умерли в ссылке и, быть может, стали жертвами «простоумной» жестокости их тюремщиков. Из документов, сохранившихся в «деле» о ссылке Романовых, можно видеть, что правительство Бориса не раз умеряло неразумное усердие приставов, приказывало мягче обращаться с узниками и давать им «корм доволен» и хорошую одежду. Ссыльным разрешено было даже иметь свою прислугу. В 1602 году, в мае, младший из Романо-

вых Иван Никитич был уже обращен из ссылки «на службу» в Нижний-Новгород, а в сентябре того же года вместе с князем Черкасским возвращен в Москву. В это же время облегчена была участь и прочих оставшихся в живых их родных, кроме Филарета и его жены. Таким образом Борис вовсе не хотел добивать Романовых. Своего врага Филарета он обезвредил монашеским клобуком и стерег в монастырской тюрьме; остальные же были ему сами по себе не страшны.

IX.

Страшно было для Бориса другое. Выше было сказано, что, обратясь в династию, Годуновы оказались одинокими среди московской знати. В борьбе за престол они растеряли своих друзей и из них нажили себе врагов. Они должны были всех остерегаться, всех подозревать, за всеми следить. Дело полицейской охраны и политического сыска было Борисом возложено на его родственника Семена Никитича Годунова, и тот сообщил своей должности такой устрашающий характер, что стал предметом общей ненависти, злобы и страха. Охрана и сыск доведены были Семеном Никитичем Годуновым до степени террора. Орудием его были доносы, открыто поощряемые и награждаемые. Рассказывали, что доносительство особенно развилось после того, как один из доносителей, иначе «доводчиков», холоп князя Шестунова, получил публичную награду, хотя его донос и не оправдался. Князя Шестунова оставили в покое, а доносчику сказали «государево жалованное слово перед Челобитным приказом на площади предо всеми людьми» и за его службу и раденье дали ему поместье и велели вперед «служити в детех боярских с города». Таким образом, холопу за донос наградою была «земля и воля». С этого случая будто бы и пошли доносить на своих господ холопы и на свою же братью «и попы и черницы и попамари и проскурницы» и люди всех прочих состояний: «жены на мужей своих доводиша, а дети на отцов своих». В «окоянных доводах» на пытках проливались «многие крови неповинные» и везде росло возмущение и ропот. Род Годуновский вообще не был популярен, потому что, кроме самого Бориса, не имел в себе ярких и талантливых лиц. Один только дядя Бориса, Димитрий Иванович

Годунов, считался выдающимся сановником. Но в годы царствования Бориса он был уже стар (боярство получил он еще в 1578 году). Хотя его и не устраняли от дел, но на посторонних людей он производил уже впечатление глубокого старца. Датчане, бывшие в Москве с герцогом Гансом, говорили, что это был «дряхленький старичек», «маленький старичек лет девяноста или больше»; он являлся на посольское подворье для оказания разных любезностей герцогу, и только. В последние годы своей жизни он более молился, чем работал, и усердно благотворил монастырям, наделяя их известными среди палеографов роскошными «лицевыми» списками Псалтыри. Кроме Димитрия Ивановича, заметны были еще дворецкий Степан Васильевич Годунов, «весьма красивый, видный старик» (как его аттестовали датчане), да Иван Иванович Годунов, троюродный племянник Бориса. Репутация этого представителя младших поколений Годуновых зависела от того, что он женился на Ирине Никитишне Романовой. После гибели Годуновых в 1605 году Иван Иванович всецело примкнул к Романовскому кругу, им был поддержан и от его друзей получил признание, а после кончины в смутное время и целую апологию. Но все названные лица не были государственными деятелями и не могли образовать собою правящего круга. Горе Бориса и заключалось именно в том, что он не смог или же не успел образовать такой круг. По обычаю своего времени, он составил из своей родни «ближнюю думу», но от нее не имел действительной помощи и опоры. В бояре возводил Борис очень редко; придворных фаворитов у него повидимому не было. Разве только Басмановых можно было счесть при Борисе за таких фаворитов. Два маленьких мальчика Басмановы, Петр и Иван Федоровичи, остались сиротами при Иване Грозном. Их отец Федор Алексеевич рано окончил жизнь в государеве опале, в ссылке на Белоозере; молодую же его вдову с детьми Грозный отослал к ее брату князю Андрею Васильевичу Сицкому в Великий Новгород. Затем эта вдова по царскому желанию вышла замуж за князя Ивана Константиновича Курлятева, а Грозный «детей ее Петра и Ивана взял к себе, к государю», отдал им отцовские вотчины и воспитал их при себе, как ранее воспитал Бориса и Ирину Годуновых. Расположение Грозного к Басмановым унаследовал и Борис, очень ласкавший Петра Федоровича (Иван Федорович рано погиб в боях): «царь и вели-

кий князь Борис Федорович как меня пожаловал за мою службу!» восклицал сам Петр Басманов накануне своей измены детям Бориса Годунова, уже собравшись передаться на сторону самозванца.

Близость собственной родни и приближение таких незначительных по личному положению и влиянию людей, каковы были Басмановы, не скрашивали одиночества Бориса. С высоты престола видел он только подданных, но не видел друзей. Все трудности правления, все опасности борьбы с явными и тайными врагами ложились исключительно на его плечи. Никого нельзя было винить в этом, кроме самого Бориса и обстоятельств его исключительной житейской карьеры. Политическое одиночество было естественным последствием его удачи и с течением времени превратилось в условие погибели его династии.

X.

Современники находили, что Бог не благословил правления царя Бориса. Оно было неспокойно с самого начала. За избирательными интригами, смущавшими Бориса не только в период самого избрания, но и после избрания, все лето 1598 года, последовали вскоре новые затруднения и осложнения. В 1600 году, по любопытнейшему сообщению бывшего в Москве француза Маржерета, разнесся слух о том, что жив угличский царевич Димитрий Иванович; начались громкие дела Богдана Бельского и Романовых; начаты были розыски и в других боярских кругах, так что, по слову Маржерета, в столице очень немногие из знатных семейств спаслись от подозрений Бориса, искавшего нить заговора против себя. Общественная жизнь в Москве вступила в тревожный фазис. А с 1601 года началась прямая смута: надвинулся голод. Летописец так изображает его начало. Во все лето 1601 года были чрезвычайные дожди; в средине августа, когда колос уже налился, хлеб не зрел, стоял «зелен аки трава»; в это время ударил на Успеньев день большой мороз и побил и рожь и овес. Народ питался «с нужею» старым хлебом и новым, а засеял озимые и яровые поля мерзлым зерном нового, плохого сбора. В 1602 году на полях «ничто не взошло, все погибло в земле». Начался тогда прямой голод, хлеба нельзя было достать и за деньги — «и купити не добыть». Народ

помирал так, как не помирали и «в поветрие моровое». Особые пристава сбирали трупы умерших от голода в домах и на улицах и хоронили в общих могилах. Современники насчитывали погибших десятками, даже сотнями тысяч, и описывали ужасающие сцены страданий голодающих людей, доходивших будто бы до людоедства. Голод продолжался и в 1603 году и привел в расстройство весь общественный порядок. Отставшие от своего дела голодные люди шли на грабеж, потому что иначе не могли добыть себе хлеба; выгнанные господами холопы и крестьяне, для которых не находилось пищи на господском дворе, сбивались в разбойничьи шайки и свирепствовали на дорогах; «не токмо что по пустым местом проезду не быть, ино и под Москвою быша разбои велицы». Против таких разбойников приходилось высылать целые отряды войск. Близ самой Москвы произошел правильный бой разбойничьей шайки «старейшины» Хлопка с «многою ратью» окольничего Ив. Ф. Басманова, причем Басманов был убит, а Хлопко израненый взят и казнен. Шайка его рассеялась и ушла, «на украйну», куда вообще спасались все неудачники из Московского государства. Борьба с голодом, в условиях того времени, не могла дать заметных результатов. Правительство Бориса пробовало кормить голодающих в Москве и раздавать им деньги, но, разумеется, не могло удовлетворить всех. Оно устраивало общественные работы «для пропитания»: «повеле делати каменное дело многое, чтобы людем питатися». В Кремле сделали «каменные палаты большие на Взрубе, где были царя Ивана хоромы». Но такого рода постройки, конечно, были не для многих помощью. Нужда была слишком остра, и район, охваченный ею, слишком обширен для того, чтобы можно было достичь успеха в борьбе с стихией. Сложность положения увеличивалась тем, что природное бедствие сопровождалось людскими злоупотреблениями. Крали и обманывали при раздаче милостыни, пищи и работы, спекулировали на хлебе: землевладельцы — от духовенства до крестьян — «прожиточные» люди «весь хлеб у себя затворили и затаили и для своих прибылей вздорожили в хлебе великую цену». Появились скупщики зерна, которые захватывали в свои руки обращение его на рынках и путем сговора, «вязки», искусственно поднимали цены на хлеб. Сохранился любопытнейший указ царя Бориса, предписавший ряд мер для прекращения зла: запрещение скупки зерна; установление такс; обязательную

продажу зерна врозь по мелочи, «всяким людем понемногу, про себя, а не в скуп»; перепись запасов и выпуск их на рынок; наказание спекулянтов; запрещение изводить зерно на винокурение и варку пива и т. п. В пору великого кризиса, переживаемого современным человечеством, можно легко представить себе ужасы голодовки, постигшей малокультурную страну в начале XVII века. Для успеха самозванщины порожденные голодом смута и общественный развал создали очень благоприятную обстановку.

XI.

В 1603 году появились определенные известия о том, что в Речи Посполитой находится лицо, именующее себя царевичем Димитрием Ивановичем, сыном Ивана Грозного, сохраненным от покушения на него Бориса Годунова. Это лицо было признано польским правительством за подлинного царевича, несмотря на то, что из Москвы называли его самозванцем и официально извещали, что это монах Григорий Отрепьев. В марте 1604 года произошло окончательное сближение самозванца с иезуитами, а 24-го апреля самозванец был присоединен к католичеству и сам известил об этом папу Климента VIII торжественным письмом на польском языке. С этого момента началось, так сказать, официальное существование претендента на московский престол, и Борис должен был ожидать вторжения в пределы его царства вооруженного врага[1]).

Изо всех существующих мнений о происхождении самозванца наиболее вероятным представляется то, что это был московский человек, подготовленный к его роли в среде враждебных Годунову московских бояр и ими пущенный в Польшу. По крайней мере письмо его к папе свидетельствует ясно о том, что писано оно не поляком (хотя и сочинено на отличном польском языке), а коренным москвичем, который плохо понимал тот манускрипт, ка-

[1]) Нет надобности излагать здесь давно известные подробности о появлении самозванца в Польше и его личные приключения до его похода на Москву. Желающие могут прочесть об этом в трудах о. Павла Пирлинга и прежде всего в его книге—«La Russie et le Saint-Siège», T. III, Paris. 1901 (Переведено порусски: «О Пирлинг. Димитрий Самозванец». Полный перевод с французского В. П. Потемкина. М. К—во «Сфинкс». 1912).

кой ему пришлось переписать набело с польского черновика, услужливо подготовленного для него иезуитами. Напрасно будем мы искать в Польше или Литве такого круга лиц, которому могли бы приписать почин в деле изобретения и подготовки московского царевича. Сам Борис, по свидетельству современников, сразу же, как только услышал о появлении самозванца, сказал «князьям и боярам в глаза», что это их дело. Повидимому расследование, предпринятое Борисом, убедило его, что роль самозванца взята на себя монахом Григорием Отрепьевым, и он не колебался об'явить об этом польскому правительству, хотя, разумеется, легко мог бы это последнее обвинить не только в покровительстве самозванцу, но и в самой подстановке лица, принявшего на себя имя Димитрия. Не бросив такого обвинения полякам, Борис тем самым давал основания искать виновников интриги в Москве. Сам он вряд ли их обнаружил, хотя, очевидно, подозревал корни интриги среди семей Романовского круга. На это указывают кое-какие обстоятельства. В 1605 году, об'являя народу о войне с самозванцем, правительство Бориса называло его Гришкою Отрепьевым и указывало между прочим на то, что Гришка «жил у Романовых во дворе». Немногим позднее, тотчас по свержении самозванца, московское посольство заявляло официально в Польше, что свергнутый Гришка «был в холопех у бояр у Никитиных детей Романовича и у князя Бориса Черкаского и заворовался, постригся в чернецы». Это заявление повторяло в сущности ту версию, которую из Москвы еще при Борисе, в конце 1604 года, официально сообщали в Вену императору Рудольфу II, что Гришка был на службе у Михаила (Никитича) Романова. О том, что Отрепьев связан был со двором Романовых и Черкасских свидетельствовали и частные сказания. В одном из таких сказаний о Гришке Отрепьеве говорится, в прямой связи с делом Романовых и Черкасских, что Гришка «утаился» от Бориса в монастыре, потому что к князю Борису Черкасскому «в его благодатный дом часто приходил и от князя Ивана Борисовича честь приобретал, и тоя ради вины на него царь Борис негодова». Действительно, князь Иван Борисович Черкасский, близкий родственник Романовых, был в числе наиболее заподозренных по делу Романовых, как впоследствии был в составе наиболее близких к самозванцу вельмож. По связи с этим частным сказанием о «чести», оказанной Отрепьеву в дому

Черкасских, приобретает вес и мимолетное, но важное указание Маржерета (верившего в подлинность самозванного царя Димитрия), что в числе вельмож, спасших младенца Димитрия от погибели в Угличе, были именно Романовы. Так, несколько намеков ведут исследователя к тому же подозрению, к которому пришел в свое время Борис и которое точно можно выразить словами, что корни самозванческой интриги были скрыты где-то в недрах дворцовой знати, враждебной Борису, и скорее всего в кругу Романовых и родственных им или близких по свойству семей. Когда войска самозванца появились на московских рубежах и надобно было двинуть на них московскую рать, Борис без колебаний вверил начальство над нею родовитым «княжатам»: Трубецкому, Мстиславскому, Шуйскому, Голицыну. Он не боялся, что они изменят и предадут его, ибо знал, что эта высокородная среда далека от самозванщины. И он не ошибался: княжата загнали самозванца в Путивль и лишь случайно не добили его. Но Борис не послал в свое войско уцелевших от опал и ссылок людей Романовского круга, по их явной для него ненадежности и «шатости». Никого из фамилий, прикосновенных к делу Романовых, мы не видим в составе военного начальства в рати, действовавшей против самозванца. В их именно среде Борис мог предполагать тех своих недоброхотов, которые желали успеха самозванцу и о которых один современник сказал, что они, «радеюще его (самозванцева) прихода к Москве, егда слышат победу над московскою силою Борисовою, то радуются; егда же над грядущего к Москве чаемого Димитрия победу, то прискорбни и дряхлы ходят, поникши главы». Некоторым показателем настроения соответствующей среды может служить личное поведение «старца» (то-есть инока) Филарета Романова в пору появления самозванца на московских границах. Любопытно сравнение двух донесений о «государеве изменнике» старце Филарете его приставов—от ноября 1602 года и от февраля 1605 года. В первом пристав доносит о полном упадке духа Филарета: Он желает смерти себе и своей жене и своим детям: «милые мои детки (причитает он) маленьки бедные остались... лихо на меня жена да дети: как их помянешь, ино что рогатиною в сердце толкнет!.. дай, Господи, слышать, чтобы их ранее Бог прибрал!» Прошло два года; в Сийский монастырь, где содержался Филарет, приходили, и летним и зимним путем, «проходом идучи, помолитися торговые люди

тех городов», а иные люди приходили «из иных городов на житье» в монастырь. С этими «прихожими людьми» долетали до монастырской братии и до узника Филарета вести о мирских делах, о воскресшем Димитрии и междоусобии в государстве. И ожил узник в начале 1605 года: «живет старец Филарет не по монастырскому чину (доносил его пристав в Москву), всегды смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил; и к старцам жесток». Монахам Филарет все грозил: они постоянно жаловались, что он «лает их и бить хочет»; к одному из них он даже «с посохом прискакивал»; «а говорит старцом Филарет старец: увидят они, каков он вперед будет». Надежда на волю и на мирское житье обуяла Филарета, и монастырское начальство само поддалось его настроению, ослабило надзор за ним и оставило прежнее «береженье». Так было в феврале 1605 года, а летом этого года Филарет уже получил свободу от того самого самозванца, одно появление которого наполнило его светлыми чаяниями.

В борьбе с самозванцем Годуновы испытали на себе действие вражды возбужденной против них как ими самими, так и вообще московским правительством, среди всех оппозиционных кружков московского общества. Если самозванца подготовила против Бориса одна часть московской придворной знати, бывшая когда-то с Борисом в «завещательном союзе» дружбы, то другая часть этой знати, именно княжата, выждала удобную минуту для того, чтобы с помощью самозванца попытаться низвергнуть преемников Бориса. Моменты выступлений были различны, но цель у знати была одна — уничтожение ненавистной династии Годуновых. Когда народная масса на московских украйнах встала «за истинного царя Димитрия Ивановича», она пошла против Годуновых, как представителей той власти, которая создала крепостной режим в государстве и сжила трудовой народ с его старых жилищ и привычной пашни. Если «лихие бояре», становясь против Годуновых, хотели себе власти, то украинная чернь, ополчаясь на Годуновых, шла против «лихих бояр» и желала себе воли, надеясь, что «истинный царевич» даст народу щедрое «жалованье» и чаемую перемену общественных порядков.

XII

Устроясь в замке Мнишков в Самборе, самозванец навербовал себе небольшое войско из местных польских элементов, готовых поддержать авантюру московского царевича. К этому войску современники относились с некоторым пренебрежением, как к «жмене» (горсточке) людей, не представлявшей собою сколько нибудь заметной силы. Численность «жмени» не превышала 3500 — 4000 человек в ту минуту, когда (в октябре 1604 г.) самозванец начал свой поход на Бориса и под Киевом «перевезся» через Днепр на московскую сторону, «в рубеж Северский». Не в этом войске однако заключалась главная сила самозванца. Все лето 1604 года поддерживал он из Самбора сношения с населением московской украйны и налаживал там восстание в свою пользу. Все лето привлекал он к себе московских выходцев и рассылал по московским областям свои «прелестные письма» (так назывались тогда прокламации). Посылал самозванец и на Дон извещать о себе «вольных» казаков, там живших. Есть известие, что ходоки с Дона были у самозванца в Самборе; приходили они к нему и на походе в разных местах, а на берегах Днепра и Десны казаки присоединялись к самозванцу уже тысячами. В Чернигове он имел их уже до 10.000. А кроме того, отдельно от рати самозванца, на востоке от нее, на путях с юга к Москве, составилась особая казачья и служилая рать, действовавшая именем Димитрия и в пользу самозванца. Таким образом, можно сказать, что самозванец и его агенты и вдохновители начали свою борьбу с Борисом тем, что организовали против московского правительства восстание южных областей государства.

Общая почва для этого восстания нам уже известна. Выселение на юг недовольной массы наполнило «край земли» московской «воинственным людом» оппозиционного настроения. К этому люду голодовка 1601 — 1603 годов присоединила новые кадры беглецов из государства, новых «приходцев». Государство однако не оставляло эмигрантов в покое на новых местах их поселений. Вышедшие на южную границу государства «приходцы» не долго могли там пользоваться простором и привольем, так как быстрая правительственная занимка «дикого поля» приводила свободное население «поля» в правительственную зависимость,

обращая приходцев или в приборных служилых людей, или же в крестьян на поместных землях. Даже казачество привлекалось на службу государству и, не умея пока устроиться и само обеспечить себя на «поле» и «реках», шло служить в пограничные города и на сторожевые пограничные посты и линии. Таким образом, государственный режим, от которого население уходило «не мога терпети», настигал ушедших и работил их. Уже в этом заключалась причина раздражительности и глухого неудовольствия украинного населения, которое легко «сходило на поле» с государевой службы, а если и служило, то без особого усердия. Но недовольство должно было увеличиваться и обостряться особенно потому, что служилые тяготы возлагались на население без особой осмотрительности, неумеренно. Не говоря уже о прямых служебных трудах — полевой или осадной службе, население пограничных городов и уездов привлекалось к обязательному земледельческому труду на государя. В южных городах на «поле» была заведена казенная «десятинная» пашня. В Ельце, Осколе, Белгороде, Курске размеры этой пашни при царе Борисе были так велики, что последующие правительства, даже в пору окончательного успокоения государства, не решались возвратиться к установленным при Борисе нормам. Царь Михаил Федорович восстановил десятинную пашню лишь в половинном размере: в помянутых городах велено было в 1620 году запахивать всего по триста десятин в трех полях вместо прежних шестисот. А в Белгороде первоначально думали пахать на государя даже девятьсот десятин; но уже в Борисово время сошли на шестьсот, обратив остальные триста десятин в раздачу служилым людям. Нетрудно представить себе, каким тяжелым бременем ложилась на местное служилое население обязанность обработать столь значительную площадь земли. Не установив еще своего хозяйства, оно должно было тратить свои силы на чужом, плоды которого ему не доставались вовсе. Собранное с государевых полей зерно, если не лежало в житницах в виде мертвого запаса, то посылалось далее на юг для содержания еще не имевших своего хозяйства служилых людей. Так, из Ельца и Оскола «важивали» хлеб в новый Царев-Борисов город, а с Воронежа «ежелет» посылали всякие запасы «из государева десятинного хлеба» донским казакам. Местное же население, жившее в данном городе «на вечном житье», или же присылаемое туда временно, «по годам»,

не всегда даже получало за свой труд вознаграждение, довольствовалось только «поденным кормом», а иногда даже само платилось своим добром для казенного интереса. Так, чиновники Бориса на Воронеже отрезали 300 десятин из стрелецкой и казачьей земли под государеву пашню; практика же позднейших лет показывает, что администрация считала себя в праве занимать у жителей зерно для посева на государевой пашне и возвращать заем без малейшего процента.

Таким образом, то население московского юга, которое служило правительству в новых городах, не могло быть довольным обстановкою своей службы. Собранные на службу «по прибору» из элементов местных, из недавних «приходцев» с севера, эти служилые люди — стрельцы и казаки, ездоки и вожи, пушкари и затинщики—еще не успели забыть старых условий, которых сами они, или их отцы, стремились «избыть» в центральных местностях государства. Но «избыв» одного зла, этот люд на новых местах нашел другое—вместо барской пашни нашел казенную, одинаково кабалившую. Если ранее его врагом представлялся ему землевладелец, то теперь его врагом было правительство и чиновники, угнетавшие народ тягостной службой и казенной запашкой. В голодные годы настроение недовольных должно было очень обостриться, и «прелестные письма» самозванца находили для себя прекрасную обстановку. Украйна легко поднималась на центр, увлеченная возможностью соединить свою месть угнетателям с помощью угнетенному «истинному царевичу». В одну «казачью» массу сбились ставшие за Димитрия служилые люди и «вольные казачия»—военное население укрепленных городков и бродячие обитатели казачьих занмок, юртов и станов; и вся эта масса двинулась на север, ожидая соединения с «царем Димитрием» там, где он укажет.

Таким образом кампания самозванца против Бориса началась сразу на двух фронтах. Сам самозванец вторгся в Московское государство от Киева и пошел вверх по течению р. Десны, по ее правому берегу, надеясь этим путем выйти на верховье Оки, откуда пролегали торные дороги на Москву. В то же время казачьи массы с «поля» пошли на север «по крымским дорогам», группируясь так, чтобы сойтись с самозванцем где-нибудь около Орла или Кром и оттуда вместе с ним наступать на Москву через Калугу или Тулу. Войска Бориса несколько опоздали с

своим походом против самозванца. Борис назначил сборным пунктом для главной армии Брянск—город, лежавший одинаково близко к Смоленскому и Северскому рубежам. Откуда бы ни появился враг, от Орши или от Киева, войска от Брянска могли быть брошены ему навстречу. Когда выяснилось, что самозванец идет «с Северы», воеводы пошли туда и подоспели не к самому рубежу, а встретились с самозванцем только у Новгорода-Северского. Он успел взять городки по Десне, даже город Чернигов, но под Новгородом-Северским задержался надолго. Прямая дорога на север, к Москве, была для него прочно закрыта. За то он получал вести, что восточнее его, на «поле», город за городом признавал его власть. В течение двух недель ему были сданы Путивль, Рыльск, Севск, Комарицкая волость, Курск, Кромы. Затем признали его Белгород и Царев-Борисов. Быстрое подчинение «поля» и «украинных» городов соблазнило самозванца. Он бросил осаду Новгорода-Северского и повернул направо, на восток, к Севску, для немедленного соединения с казаками. Но Борисовы воеводы догнали его на марше и разбили на-голову его «жменю» польско-литовских и русских людей. Самозванец тогда побежал на юг, не успев соединиться с казаками, и затворился в каменном Путивле, растеряв все свои силы и не имея твердой надежды на личное спасение. Казалось, его песня была спета.

Спасло его дальнейшее восстание казачества на московской украйне. Несмотря на поражение самозванца, казаки продолжали захватывать города на его имя. В Путивле самозванец узнал, что его признали Оскол, Валуйки, Воронеж, Елец, Ливны. Все «поле» было захвачено движением против московского правительства, и бояре, стоявшие во главе армии Бориса, должны были оставить преследование самозванца и к весне отвести войска на север, чтобы они не были отрезаны от сообщений с Москвою. Бояре отошли к крепости Кромам, у которой был важный узел дорог, сходившихся здесь изо всего охваченного восстанием района. В Кромах уже сидели казаки; московские войска окружили Кромы и заградили выход казакам на север к Москве. Здесь и образовался надолго фокус военных операций: ни казаки не могли двигаться вперед, ни Борисовы войска не могли их прогнать из Кром на юг. Так протекла зима 1604—1605 года. А раннею весною произошло решительное событие: царь Борис скончался 13-го апреля 1605 года.

XIII.

Борис прихварывал уже с 1602 года, хотя далеко не был стар. Чем именно он страдал, установить трудно. Есть известия, что он был «hidropicus», то-есть имел водянку от сердечной болезни; в 1604 году говорили, что его постиг удар, что он «волочит за собою ногу», часто хворает и подолгу не выходит. Но все-таки его кончина в 53 года показалась настолько внезапною и неожиданною, что ее готовы были приписать самоубийству. Молва говорила, что Борис почувствовал себя дурно среди дня—или во время приема послов, или при конце его обеда. Его едва успели причастить и—по древнему обычаю—постричь в иночество (с именем Боголепа), и в тот же день он отошел в вечность.

Прошло только три недели с его смерти, и войско Бориса под Кромами уже изменило Годуновым и передалось «истинному царю Димитрию Ивановичу». А еще через три недели семья Бориса была взята из дворца на старый Борисов двор, где 10-го июня были убиты вдова и сын Бориса, а его дочь обращена в поруганную узницу.

Трагедия Бориса окончилась гибелью его семьи и полным «захуданием» всего Годуновского рода—главным образом по той причине, что этот род, обратившись в династию, был обречен на политическое одиночество. Не раз мы указывали, что дружеские связи, скреплявшие дворцовую знать при царе Федоре Ивановиче, были порваны ссорою Романовых и Годуновых в 1598 году, во время борьбы за царский престол. Эта ссора породила возможность самозванческой интриги, обратив имя царевича Димитрия в орудие борьбы. Не без связи с этою интригою были разгромлены Романовы, и распался союз их «завещательной дружбы» с Борисом. Борис один с своею роднею остался против княжеской знати, приниженной и ослабленной им, но не примиренной и не забывшей своего прошлого первенства. Когда явился самозванец, эта знать, подчиняясь личному авторитету и таланту Бориса, служила ему. Но когда Борис умер, она не захотела поддерживать его династию и служить его семье. В этой знати сразу ожили все ее притязания, заговорили все обиды, развилось чувство мщения и жажда власти. Отлично соображали, что только что основанная Борисом династия не имела ни достаточно спо-

собного и годного к делам представителя, ни сколько-нибудь влиятельной партии сторонников и поклонников. Она была слаба, ее было легко уничтожить,—и она действительно была уничтожена. Молодой царь Федор Борисович отозвал из войска в Москву князей Мстиславского и Шуйских и на смену им послал князя М. П. Катырева-Ростовского и П. Басманова. Два Голицына, братья Василий и Иван Васильевичи, остались под Кромами. Перемены в составе воевод были произведены, вероятно, из осторожности, но они послужили во вред Годуновым. Войска, стоявшие под Кромами, оказались под влиянием князей Голицыных, знатнейших и виднейших изо всех воевод, и П. Ф. Басманова, обладавшего популярностью и военным счастьем. Москва же должна была естественно пойти за В. И. Шуйским, которого считала очевидцем углицких событий 1591 года и свидетелем если не смерти, то спасения маленького Димитрия. Князья-бояре сделались хозяевами положения и в армии, и в столице, и немедленно об'явили себя против Годуновых и за «царя Димитрия Ивановича». Голицыны с Басмановым увлекли войска на сторону самозванца. Князь же В. И. Шуйский в Москве не только не противодействовал свержению Годуновых и торжеству самозванца, но, по некоторым известиям, сам свидетельствовал под рукою, когда к нему обращались, что истинного царевича спасли от убийства; затем он, в числе прочих бояр, поехал из Москвы навстречу новому царю Димитрию, бил ему челом и, возвратясь в Москву, приводил народ к присяге новому монарху. Так держали себя представители княжеской знати в решительную минуту московской драмы. Их поведение нанесло смертельный удар Годуновым, и В. В. Голицын даже не отказал себе в удовольствии присутствовать при последних минутах Борисовой жены и царя Федора Борисовича.

Годуновых не щадили даже после их смерти, и прах их не сразу нашел место вечного упокоения. Тело Бориса из Архангельского собора, где его первоначально похоронили, было вывезено в Варсонофьевский монастырь (в самой Москве), а оттуда отправлено в Троице-Сергиев монастырь, где в конце концов были погребены и другие члены его семьи.

Трагедия Бориса окончилась гибелью героя, как принято думать после прекрасного произведения Пушкина

«Борис Годунов». Сам Пушкин не решался в своих заметках и письмах дать точное определение тому, что он создал под влиянием Карамзинского преставления о Годунове—жертве преступного властолюбия. «Вы меня спросите», писал он: «ваша трагедия есть ли трагедия характеров или нравов» («tragédie de caractère ou de costume»)? И на этот вопрос Пушкин не давал своему корреспонденту ясного ответа: «я пытался», говорит он: «соединить оба вида» («de les unir tout deux»). Но в этом была существенная историческая ошибка. Бытовые элементы Пушкинского «Бориса» необходимо было соединить не с трагедией характеров, а с трагедией рока. Борис умирал, истомленный не борьбою с собственной совестью, на которой не лежало (по мерке того века) никаких особых грехов и преступлений, а борьбою с тяжелейшими условиями его государственной работы. Поставленный во главу правительства в эпоху сложнейшего кризиса, Борис был вынужден мирить непримиримое и соединять несочетаемое. Он умиротворял общество, взволнованное террором Грозного, и в то же время он его крепостил для государственной пользы. Он давал льготу одним и жал других, тянул вверх третьих и принижал четвертых все во имя той же государственной пользы. Он работал на государство и в то же время готовил трон для себя; он отказывался от сана монарха, когда уже был им фактически. Сложность и многогранность его деятельности обнаружили во всем блеске его правительственный талант и его хорошие качества — мягкость и доброту; но эти же свойства сделали его предметом не только удивления, восторга и похвал, но и зависти, ненависти и клеветы. По воле рока, злословие и клевета оказались вероподобными для грубых умов и легковерных сердец и обратились в средство политической борьбы и интриги. Пока Борис был жив и силен, интриги не препятствовали ему править и царствовать. Но как только он в пылу борьбы и в полном напряжении труда окончил свое земное поприще, интрига и клевета восторжествовали над его семьей и погубили ее, а личную память Бориса омрачили тяжкими обвинениями. Обвинения однако не были доказаны: они только получили официальное утверждение государственной и церковной власти и передали потомству загрязненный облик Бориса. Его моральная реставрация есть, по нашему мнению, прямой долг исторической науки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая.

КАРЬЕРА БОРИСА.

Стр.

I. Личность Бориса в научной литературе . . . . . 3—6

II. Род Годуновых и служба Бориса; момент его выступления на государственном поприще . . . . . 6—8

III. Вопрос о верховной власти в Московском государстве.—Старое московское боярство.—Княжата XVI в.—Местничество.—Княжецкие вотчины.—Опричнина Грозного; ее прямые и косвенные последствия . . . . . 9—19

IV. Боярство в исходе XVI века. — Родовая знать и государева родня; их взаимные отношения . . . . . 19—22

V. Царская семья после смерти Грозного.— Волнения 1584 года. — Никита Романович, Борис и Щелкаловы. — Борьба Бориса с князьями Мстиславским и Шуйскими; торжество Бориса . . . . . 23—29

VI. Борис—правитель государства.—Его титул, права и обстановка . . . . . 29—34

VII. Правительственные способности Бориса.—Отзывы о нем современников —Личные качества Бориса . . . . . 34—38

Глава вторая.

ПОЛИТИКА БОРИСА.

I. Международное положение Московского государства после смерти Грозного.—Правительственные задачи Бориса. 39—40

II. Сношения с Речью Посполитою; со Швецией; с Цесарским ором; с Англией.—Общия свойства московской политики времени Бориса . . . . . 40—54

III. Отношения к Востоку: туркам, татарам и Кавказу. Сибирь. . . . . 54—58

IV. Вопрос о патриаршестве в Москве . . . . . 58—66

V. Результаты внешней политики Бориса . . . . . 66—67

VI. Внутренняя политика Бориса.—Крестьянский «выход» и перемещение трудовой массы на окраины государства. — «Пустота» и падение хозяйственной культуры в центре государства; борьба хозяев за рабочие руки . . . . 67—74

VII. Правительственные меры в отношении крестьян, холопов и беглых людей . . . . . 74—80

VIII. Отношение Бориса к знати и духовенству.—Общая оценка сословной политики Бориса . . . . . 80—84

IX. Борьба с общественным кризисом и успокоительные меры; финансовые льготы; строительство; иноземцы и просвещение.—Общая тенденция политики Бориса . . . 84—92

Глава третья.

ТРАГЕДИЯ БОРИСА.

I. Смерть царевича Димитрия в Угличе. — Различные о ней известия.—Нагие в Угличе. — Болезнь царевича. — День 15 мая 1591 года.—«Обыск» и суд . . . . . 93—103

II. Отношение современников к событию 15 мая 1591 г. 103—113

III. Царевна Феодосия и царица Ирина в вопросе о московском престолонаследии. . . . . 113—116

IV. Кончина царя Федора Ивановича.— Воцарение и отречение царицы Ирины. — Роль патриарха во временном правительстве и земский собор для царского избрания. 116—119

V. Избрание собором Бориса и его согласие . . . . . 119—123

VI. Иностранные известия о ходе избирательной кампании в Москве . . . . . 123—127

VII. Присяга Борису и ее повторение.—«Царь» Симеон Бекбулатович.—Серпуховской поход и коронация Бориса . 127—132

VIII. Борис, Романовы и Богдан Бельский . . . . . 132—140

IX. Политическое одиночество Годуновых . . . . . 140—142

X. Голод 1601—1603 годов и разбои . . . . . 142—144

XI. Появление самозванца и его вероятное происхождение . . . . . 144—147

XII. Поход самозванца; восстание на «поле» и в украинных городах . . . . . 148—151

XIII. Кончина Бориса и гибель его семьи . . . . . 152—154

ПОСОБИЯ.

КАРАМЗИН. «История Государства Российского», тт. IX—XI.

СОЛОВЬЕВ. «История России с древнейших времен», т.т. VII и VIII.

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН. «Обзор событий (1584—1613)» в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1887 г., июль — август (часть 252-я).

КЛЮЧЕВСКИЙ. «Курс русской истории», части 2-я и 3-я.

ПЛАТОНОВ. «Очерки по истории Смутного времени в Московском государстве».

ПЛАТОНОВ. «Древне-русские сказания и повести о Смутном времени, как исторический источник».

Le P. PIERLING S. J. «La Russie et le Saint-Siège», t. III (Переведено по-русски: О. ПИРЛИНГ. «Димитрий Самозванец». Пер. В. П. Потемкина. М. 1912).

K. WALISZEWSKI. «La crise révolutionnaire 1584—1614 (Smoutnoie vrémia)». Paris. 1906 (Переведено по-русски: «К. ВАЛИШЕВСКИЙ. «Смутное время». Пер. под редакцией Е. Н. Щепкиной. СПб. 1911).

КРАЕВСКИЙ. «Царь Борис Федорович Годунов». СПб. 1836.

ПАВЛОВ. «Об историческом значении царствования Бориса Годунова». СПб. 1863.

СУВОРИН. «О Димитрии самозванце». СПб. 1906.

ВЛАДИМИР КЛЕЙН. «Угличское следственное дело о смерти царевича Димитрия 15 мая 1591 года». М. 1913.

«Русская Историческая Библиотека, издаваемая Археографической Комиссией», т. XIII («Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени»). Изд. 2-е, дополненное. СПб. 1909.

«Полное Собрание Русских Летописей», т. XIV, Первая половина (I. «Повесть о честнем житии царя и великого князя Федора Иваповича». II. «Новый Летописец»)

Библиотека Гос. Дома Учителя

13608/6

Лавка писателей
Цена 5 р.

№ 07

№ 04